

СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА
СИБИЛЛЫ ДЖОЙНС
ДЛЯ ДЕТЕЙ, ГОВОРЯЩИХ
С ПРИЗРАКАМИ

ПУТЬ ИЗБАВЛЕНИЯ

· ШКОЛА СТРАННЫХ ДЕТЕЙ ·

· ШЕЛЛИ ·
· ДЖЕКСОН ·



Дом странных детей

Шелли Джексон

**Путь избавления.
Школа странных детей**

«Издательство АСТ»

2018

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Coe)

Джексон Ш.

Путь избавления. Школа странных детей / Ш. Джексон —
«Издательство АСТ», 2018 — (Дом странных детей)

ISBN 978-5-17-116012-8

Одиннадцатилетняя Джейн Грэндисон, страдающая заиканием, сидит на заднем сиденье машины. В руке у нее письмо – приглашение в Специальную школу Сибиллы Джойнс. На первый взгляд кажется, что это интернат для детей с проблемами речи, но говорить в стенах этого заведения начинают призраки, а учащиеся и преподаватели бесстрашно исследуют страну мертвых. Джейн, робко ступившая на порог школы, со временем становится правой рукой Директрисы Джойнс, территория удивительных исследований расширяется, смелые эксперименты следуют один за другим, но однажды размеренную жизнь школы нарушает череда странных событий, которые привлекают пристальное и нежелательное внимание попечителей, полиции и встревоженных родителей учащихся. Исследования и даже жизнь обитателей школы находится под угрозой.

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Coe)

ISBN 978-5-17-116012-8

© Джексон Ш., 2018
© Издательство АСТ, 2018

Содержание

Предисловие редактора	7
1. Последнее донесение	14
Рассказ стенографистки Дж. Грэндисон	17
Документы	22
Письма мертвым писателям, № 1	42
2. Последнее донесение (продолжение)	45
Рассказ стенографистки (продолжение)	48
Документы	55
Письма мертвым писателям, № 2	59
3. Последнее донесение (продолжение)	62
Рассказ стенографистки (продолжение)	66
Конец ознакомительного фрагмента.	69

Шелли Джексон

Путь избавления. Школа странных детей

Shelley Jackson

Riddance

© 2018 by Shelley Jackson

© Ю. Змеева, перевод на русский язык

© ООО «Издательство АСТ», 2020

* * *

Посвящается Шибире – когда-нибудь ты это прочитаешь

W. L. Simon Feb. 25

ШОКИРУЮЩЕЕ УБИЙСТВО

Новая смерть в интернате для детей с дефектами речи

Детский интернат для заикающихся в Чизхилле, штат Массачусетс, также известный как «Специальная школа Сибиллы Джойнс для детей, говорящих с призраками», в последнее время стал частым гостем газетной хроники. На днях мрачный список смертей, случившихся на его территории, пополнился убийством.

На территории Специальной школы, о которой мы писали совсем недавно в связи со случайной смертью ученика, обнаружен обугленный труп. Это уже вторая смерть, произошедшая в школе за год. По данным предварительного опознания, жертвой стал инспектор региональной службы образования Эдвард Пасификус Эдвардс, о пропаже которого заявили накануне вечером после его предполагаемого отъезда из интерната для детей с дефектами речи, куда Эдвардса завела служебная необходимость. Через несколько часов после того, как инспектор якобы покинул интернат, обнаружили его пустую повозку. Вскрытие подтвердило предположение детектива

о том, что перед сожжением жертва уже была мертва. Смерть наступила в результате удара тупым предметом в затылок; удар был нанесен с такой силой, что жертве проломили череп. Поскольку на месте, где лежал труп, найдено совсем немного крови, детектив, расследующий убийство, предположил, что жертва была убита в другом месте, после чего тело перенесли в лесистую низину под покровом ночи и там подожгли. Одежда и личные вещи жертвы, вероятно, сторели. Рядом с трупом обнаружена бутылка с парафином.

Вдобавок к скверным обстоятельствам, окружающим зловещную находку, ранним утром того же дня директриса интерната для заикающихся мисс Сибиллы Джойнс была обнаружена мертвой. Она скончалась от естественных причин. Представительница школы стенографистка Джейн Грэндисон сообщила, что в четыре часа пополудни предыдущего дня инспектор Эдвардс покинул кабинет директрисы с целью завершить обход территории, но о дальнейших его перемещениях ей якобы ничего не известно.

Предложение Грэндисон вызвать дух умершего при помощи метода общения с призраками, которому обучают в школе, категорически отклонено властями, посчитавшими это «дешевым рекламным трюком».

Ученица, обнаружившая труп, не смогла дать показания: после происшествия мать девочки забрала ее из интерната, ссылаясь на сильнейшее эмоциональное потрясение.

Полицейские разыскивают бродагу, которого на этой неделе видели далеко от школы.

Предисловие редактора

О Специальной школе Сибиллы Джойнс я узнал благодаря одной книжной лавке и одному призраку.

Я хорошо помню тот день в тогда еще незнакомом городе несколько лет назад. Свинцовое небо, затянутое облаками, и почти непрерывный отдаленный рокот грома. Я приехал на научную конференцию, выскользнул из безобразного и уже обшарпанного, хоть и нового здания, где она проводилась, из этого тесного кроличьего садка, куда нас загнали, и очутился в безлюдном деловом квартале. Я чувствовал себя немного виноватым, что пропускаю презентацию коллег, но не мог вынести больше ни минуты их отупляющего пустословия.

Я оказался в унылом районе, не предназначенном для пешеходных прогулок, где здания занимают целые кварталы, а на улице глазу не за что зацепиться, кроме разве что клочка бумажного мусора, безвольно волочащегося по мостовой под дуновением ветерка, или уличного знака, внезапно начинающего вибрировать и так же внезапно замирающего. Завернув за угол, я с облегчением увидел ряд маленьких магазинчиков, хотя и те выглядели невзрачно: сигарная лавка с опущенными ставнями, винный подвальчик, где усталый продавец в заляпанной рубашке-поло неохотно поднялся со стула, чтобы продать мне бутылку тепловатой воды, и неосвещенный книжный магазин, дверь которого подавалась, стоило толкнуть ее, открыв глазу темные узкие проходы между покосившимися полками. Тут и там проход преграждала сошедшая лавина книг, а маленькие уютные пустоты между книжными стопками поросли не паутиной, а чем-то более пушистым, вероятно, кошачьей шерстью – запах в лавке намекал на присутствие животных. Проход в подсобку занавешивало старое полотенце с цветочным узором; за ним кто-то копошился и шуршал.

Я наклонился за книгой, стоявшей в плотно утрамбованном ряду на нижней полке, но со вскриком отдернул руку. На кончике пальца проступила капля крови. Сперва я решил, что книга меня укусила, но нет, я ошибся: снизу слышалось шепотное и поспешно удаляющийся топоток когтистых лап. Несомненно, это был кот, потревоженный в одном из своих укрытий. Я снова наклонился и подцепил пальцем тканевый переплет сверху корешка; книга застряла намертво и не поддавалась, но я потянул сильнее и выдернул книгу, а заодно и соседнюю, а вместе с ними и тоненькую брошюрку, зажатую между двумя томами. Переплет при этом с треском надорвался. Я виновато задвинул книгу обратно на полку, даже не взглянув на нее, и поднял брошюрку и вторую книгу, для чего мне пришлось встать на колени. Информационная брошюрка 1950-х годов описывала механизм работы гидроэлектрических плотин; книга, выпавшая вместе с первой, – учебник по дикции 1910–1920-х, – раскрылась посередине, и я увидел на странице отпечаток газетной вырезки, которую, должно быть, использовали как закладку; вырезка так долго пролежала в книге, что типографская краска с газеты оставила след на книжной странице. У торговцев редкими книгами принято называть такие отпечатки «призраками» – удачное название, учитывая, что этому фантому предстояло стать первым в череде призраков, ворвавшихся в мою жизнь буквально минутой позже.

Сама же газетная вырезка, должно быть, выскользнула и упала на пол. Я стал искать ее и нашел под коленом; от времени она пожелтела и истончилась. Совместив заметку с ее бледным отпечатком, я наконец смог прочитать, о чем в ней говорилось.

Шокирующее убийство

Новая смерть в интернате для детей с дефектами речи

Детский интернат для заикающихся в Чизхилле, штат Массачусетс, также известный как «Специальная школа Сибиллы Джойнс для детей, говорящих с призраками», в последнее

время стал частым гостем газетной хроники. На днях мрачный список смертей, случившихся на его территории, пополнился убийством.

На территории Специальной школы, о которой мы писали совсем недавно в связи со случайной смертью ученика, обнаружен обугленный труп. Это уже вторая смерть, произошедшая в школе за год. По данным предварительного опознания, жертвой стал инспектор региональной службы образования Эдвард Пасификус Эдвардс, о пропаже которого заявили накануне вечером после его предполагаемого отъезда из интерната для детей с дефектами речи, куда Эдвардса привела служебная необходимость. Через несколько часов после того, как инспектор якобы покинул интернат, обнаружили его пустую повозку. Вскрытие подтвердило предположение детектива о том, что перед сожжением жертва уже была мертва. Смерть наступила в результате удара тупым предметом по затылку; удар был нанесен с такой силой, что жертве проломили череп. Поскольку на месте, где лежал труп, найдено совсем немного крови, детектив, ведущий расследование, предположил, что жертва была убита в другом месте, после чего тело под покровом ночи перенесли в лесистую низину и подожгли. Одежда и личные вещи жертвы, вероятно, сгорели. Рядом с трупом обнаружена бутылка с парафином.

Вдобавок к скверным обстоятельствам, сопровождавшим зловещую находку, ранним утром того же дня директриса интерната для заикающихся мисс Сибиллы Джойнс была обнаружена мертвой. Она скончалась от естественных причин. Представительница школы, стенографистка Джейн Грэндисон сообщила, что накануне в четыре часа дня инспектор Эдвардс покинул кабинет директрисы, чтобы завершить обход территории, но о дальнейших его перемещениях ей якобы ничего не известно.

Предложение Грэндисон вызвать дух умершего при помощи метода общения с призраками, которому обучают в школе, категорически отклонено властями, посчитавшими это «дешевым рекламным трюком».

Ученица, обнаружившая труп, не смогла дать показания: после происшествия мать девочки забрала ее из интерната, ссылаясь на сильнейшее эмоциональное потрясение, которое той довелось пережить.

Полицейские разыскивают бродягу, которого на этой неделе видели неподалеку от школы.

Я прочел, а затем перечитал газетную вырезку, которая буквально рассыпалась в руках: от краев отделялись кусочки, порхали в воздухе, оседали на грязный, провонявший кошками ковровый ворс. Я никогда не слышал о Специальной школе Сибиллы Джойнс для детей, говорящих с призраками. И одно лишь упоминание о ней пробудило мое любопытство, так как я считал, что об американском спиритуализме конца XIX – начала XX века и его представителях мне известно все. Открытие заинтересовало меня и по другой причине: предметом моих научных изысканий являлись ставшие весьма популярными и распространенными в последнее время речевые исследования – «лекарства» от заикания, тренировка дикции, орфоэпия, антиабсурдистская или френотипическая орфография Майора Бениовского («как слышится, так и пишется»), стенография Питмана и Грегга и прочие методы отображения звуков речи на письме посредством произвольного набора символов. Заинтриговало меня и упоминание об убийстве, ведь ничто человеческое мне не чуждо. Удалось ли разгадать загадку? А что если я мог бы ее разгадать? Разумеется, научными методами.

Захлопнув книгу со столь любопытным вложением внутри, я прижал ее к груди. У меня вдруг возникло чувство, что кто-то заглядывает в книгу через мое плечо – не призрак, а такой же, как я, перспективный ученый, штудирующий ту же дисциплину и позарившийся на находку, которая пока – но надолго ли? – оставалась только моей.

Думаю, уже тогда я испытал не просто жадность ученого, а нечто большее: мне показалось, что передо мной распахнулась дверь в мир, прежде скрытый от пытливых взглядов. Большинство людей побоялись бы заглянуть в эту дверь, но я заглянул. И увидел... сполохи аквамарины и изумрудной зелени, яркие полосы, брызги расплавленного льда, замерзшего пламени, запах музыки! Я доношу свою мысль неуклюже, но уверен, что хотя бы некоторые поймут меня, узнав, что моей первой мыслью было «да!», а второй – «я помню, как это бывает». И верно, как я мог забыть ту ночь, когда, зарывшись под одеяло с фонариком – время отхода ко сну давно миновало, я нарушал правила, и как сладостно было ощущать себя преступником в моей теплой, залитой золотистым светом пещере-палатке из одеяла – я начал ползти, как думал, обратно к изголовью кровати, но очутился в глубоком тоннеле, конца которому не было, а с потолка тянулись тонкие лианы, задевавшие мой лоб. И вот наконец я выполз из тоннеля и очутился в заснеженной чаше; под кронами разносились щелканье и щебет – сонм механических ангелов репетировал песнь для внимающих им паучат. С тех пор тот ход не открывался много лет, но как я жаждал, чтобы это случилось!

Я вдруг заметил, что в щель между полками за мной наблюдает пара внимательных глаз, и, вздрогнув, выронил книгу. Очевидно, это был кот, с которым мы уже познакомились. Тем временем хозяин книжной лавки отдернул шторку-полотенце и появился в дверном проеме, глядя на меня без особого интереса.

– Не стесняйтесь, швыряйте книги сколько угодно, – процедил он, – все равно это никому не нужно старье.

– Простите, – поспешно отвечал я, – эту я куплю. – Хозяин прибавил налог на карманном калькуляторе и, хоть деньги и взял, с явным сожалением проследил за книгой, исчезнувшей в моей сумке.

Я с головой погрузился в изучение всего, связанного со Специальной школой Сибиллы Джойнс, и чем больше узнавал, тем сильнее изумлялся. До сих пор не понимаю, как вышло, что о заведении, в стенах которого разразился не один громкий скандал и чьи адепты вели оживленные споры с именитыми интеллектуалами того времени, несколько десятилетий никто не вспоминал. Странность эту можно объяснить снижением интереса к спиритуализму, но лишь отчасти. Полагаю, память о школе и происходивших там событиях подавлялась осознанием: ведь если мертвые и продолжают жить среди нас, общественность в массе своей предпочитает ничего об этом не знать.

Но стоило начать копать, и упоминания о Специальной школе стали попадаться повсюду. Статьи об убийстве инспектора из других печатных изданий нашлись на микрокарте, и я собрал достаточно материала для небольшой научной работы. Мой труд хорошо приняли, и я приступил к новому, более существенному исследованию, отдавая себе отчет в том, что коллеги мои тоже заинтересовались этой темой, но уверенный, что они не посмеют заступить на занятую мной территорию.

В рядах ученых, да и не только, нередки случаи, когда материалы по заинтересовавшей теме начинают попадаться буквально на каждом шагу, даже там, где меньше всего ожидаешь их найти. В этом нет ничего сверхъестественного, просто наблюдатель настраивает свое внимание на определенные вибрации и начинает чаще замечать их. Но меня все же поразила быстрота, с которой рос мой архив. В секунд-хенде на Мэдисон мне попался ежегодник школы Сибиллы Джойнс с подборкой весьма любопытных фотографий школьных мероприятий. На улице в Филадельфии, где я спокойно прогуливался, меня в висок ударил бумажный самолетик, вылетевший из открытого окна над моей головой; сверху послышался сдавленный смешок. Самолетик оказался страницей из старой книги о спиритуалистах Лили-Дейла; Специальная школа Сибиллы Джойнс упоминалась на странице вскользь. А в одном из множества пакетов с занятнейшими старыми книгами и газетами, оставленными на тротуаре в Нью-Йорке неразборчивыми (и, вероятно, неграмотными) уборщиками, выносящими хлам из квартиры умер-

шего жильца, обнаружилась стопка пожелтевших листков, испещренных буквами неизвестного мне алфавита. Страницы были пронумерованы, датированы и подписаны детским почерком: «Бетти Клэмм, СШ Сибиллы Джойнс для детей, говорящих с призраками».

Порой кажется, что в интернете можно найти все истории, когда-либо рассказанные людьми, и все, что еще предстоит рассказать. Интернет похож на сказочную многоуровневую библиотеку: между стеллажами в полузабыты бродят читатели, а утром дежурные библиотекари, каждый из которых отвечает за свою секцию, оставляют на их подушках уведомления об астрономических штрафах за книги, о которых читатели даже не слышали, штрафах, написанных бледнеющими и исчезающими на глазах чернилами, сделанными из капель ночного пота, тех самых, что покрывают ваш лоб, когда вы, вздрагивая и задыхаясь, просыпаетесь от кошмара. Стоит ли говорить, что я ничуть не удивился, обнаружив упоминание о школе Сибиллы Джойнс в давно почившей рассылке группы исследователей, посвятивших себя изучению трудов французского философа, чье имя мне было не знакомо, а ныне я его уже забыл. Ученый тот отличался тем, что использовал непонятные, но чрезвычайно поэтичные словосочетания, состоящие из странных или непривычных комбинаций обычных слов. Не вникая в суть довольно оживленной дискуссии и даже радуясь своей непричастности к теме обсуждения, я выхватил из диалога одну вскользь оброненную фразу: «...как это делали предприятия рубежа XIX и XX веков, наживавшиеся на тогдашней моде на спиритуализм: к примеру, Специальная школа Сибиллы Джойнс для детей, говорящих с призраками». Само собой, ученые из рассылки знали о школе Сибиллы Джойнс из литературы, подобной той, которую изучал я. Еще больше меня удивило упоминание о школе в отзыве покупателя о водонепроницаемых туфлях, покупкой которых я озаботился. Я никак не ожидал встретить отсылку к малоизвестному учебному заведению прошлого века («такие туфли могли бы носить ученики спецшколы Сибиллы Джойнс») в контексте отзыва на водоотталкивающую обувь! Но действительно, туфли выглядели довольно консервативными, и было нетрудно представить себе ученого средних лет – например, одного из адресатов вышеупомянутой рассылки, – надевающего их, чтобы шлепать по зимней слякоти в ближайшую библиотеку.

Эта будничная картина ненадолго избавила меня от мыслей о сверхъестественных совпадениях, однако всего через несколько дней я получил письмо от некой дамы, представившейся директрисой Специальной школы Сибиллы Джойнс для детей, говорящих с призраками. Дама грозила судебным преследованием, если я немедленно не откажусь от своих планов опубликовать антологию, составленную на основе документов, якобы добытых «пиратским» способом; она утверждала, что является единственной обладательницей прав на публикацию этих документов. Об этих планах я пока не сообщал никому. Мало того – план даже не оформился в моей голове!

Сперва я подумал, что кто-то решил надо мной подшутить, но вместе с тем не мог не заметить необычное построение фраз и архаичные обороты, характерные для документов, относящихся к раннему периоду существования школы Сибиллы Джойнс. Я продолжил читать, чувствуя, как участилось мое дыхание. Однако, когда мои глаза, проворно и все еще недоверчиво скользящие по листу, остановились на подписи внизу, я резко отодвинул стул от стола, оставив на лакированном полу четыре царапины (о чем позже пожалел), вскочил и направился в кухню, где уставился невидящим взглядом в раковину. Безумная уверенность овладела мной: теперь я ни капли не сомневался, что школа Сибиллы Джойнс не только продолжает существовать по сей день, но и ее необыкновенная, пугающая и несомненно мертвая директриса, знакомая мне по вороху пожелтевших документов, шепоту ветра в сточных трубах, шелесту опавших листьев и моим собственным снам, удивительным образом тоже продолжает существовать. Не сомневался я и в том, что все сказанное в письме – чистая правда. Не претензии на авторские права, не имевшие юридической силы, а утверждение, что автором письма

является реинкарнация Сибиллы Джойнс в четвертом поколении, то есть человек, способный вызвать к жизни призрак и стать его проводником.

Разумеется, любой мало-мальски умелый фальсификатор сумел бы скопировать и сильный наклон, и угловатость почерка Джойнс; моя уверенность не имела рациональной основы, она больше смахивала на одержимость.

Внизу письма я увидел ссылку на интернет-страницу, ввел ее в браузер и оказался на сайте, который вполне мог принадлежать современному уважаемому учебному заведению. Старинная фотография здания Специальной школы на главной странице; стоковые фотографии детей (по всей видимости, учеников) с карандашами наготове; инструкции для заочников. Вам, возможно, покажется странным, почему я сразу не наткнулся на этот сайт, когда искал информацию о школе, и действительно, это меня насторожило. Позднее я узнал, что сайт запустили незадолго до того, как я получил письмо; я, должно быть, стал одним из первых его посетителей. И снова у меня возникло ощущение, будто школу Сибиллы Джойнс придумали специально для меня, будто она материализовалась из моего к ней интереса, волоча за собой свою историю, как прикрепившуюся плаценту.

Я сделал несколько звонков и наконец услышал в трубке хриплый и властный голос, потрескивающий, как старая граммофонная пластинка. Обладательница голоса подтвердила, что ее зовут Сибилла Джойнс. Я обратился к ней с благоговейным почтением, соглашаясь со всем, что она говорила. Это возымело умиротворяющее действие, и мисс Джойнс, кажется, прониклась ко мне симпатией. В конце концов она не только согласилась на публикацию антологии¹, но и предоставила мне доступ к чрезвычайно ценным материалам из архивов школы – настолько обширным, что включить их в мое исследование целиком не представляется возможным. (Однако я не теряю надежды, что эта антология окажется не последней в списке моих трудов.)

Замечание для исследователей: историк, изучающий документы, связанные со Специальной школой Сибиллы Джойнс, сталкивается с трудностями совершенно особого рода. Дело в том, что хроникеры и архивисты школы придерживались негласного мнения, что человеческое «я» является лишь придатком голоса, не принадлежащего никому или же принадлежащего мертвым. Таким образом, установить авторство документов, относящихся к школе, было бы весьма проблематично, даже если бы под каждым стояла подпись – а в большинстве случаев подпись отсутствует. Скажем, весь авторитет нынешней директрисы Специальной школы зиждется лишь на ее способности продемонстрировать, что она является голосом предыдущей, которая являлась голосом предыдущей, и так далее. То есть получается, что она занимает свой пост и является той, кем является, лишь потому, что *не является той, кем является*, и настаивать на сколько-нибудь строгой приверженности биографическим «фактам» в данном случае означает не понимать, с чем мы имеем дело.

Современность грешит тем, что все эксцентричное – а под «экс-центричным» я подразумеваю все, что расположено чуть дальше обычного от того, что мы привыкли считать «центром», не исключая, впрочем, что этот центр, вероятно, является иллюзией – автоматически относится нами к одной из двух категорий: мы считаем его симптомом болезни, излечившись от которой, пациент возвращается в «центр»; или же новым центром, куда все должны стремиться. Истиной считается то, с чем почти все согласны; нам кажется, что раз большинство подтверждают что-то, это и есть истина. Но мне больше по душе теория о том, что существует множество малых истин, которым не суждено захватить умы всего человечества; идеи, более сложные в обосновании, но для меня из-за этого и более ценные, не являющиеся ни истиной, ни ложью, а находящиеся где-то посередине, в сумеречной зоне. Или, если хотите, в простран-

¹ Не будем также забывать, что она сама подкинула мне эту идею. Так согласилась ли она на публикацию или *сама предложила ее?* – Здесь и далее, кроме иных пометок, примечания автора.

стве между реальностью и вымыслом. Осмысливая их, мы переживаем то, что, должно быть, переживают ангелы и оборотни, и узнаем, что между человеческим и не-человеческим есть незапертая дверь, а за ней лежит порог шириной в целый мир.

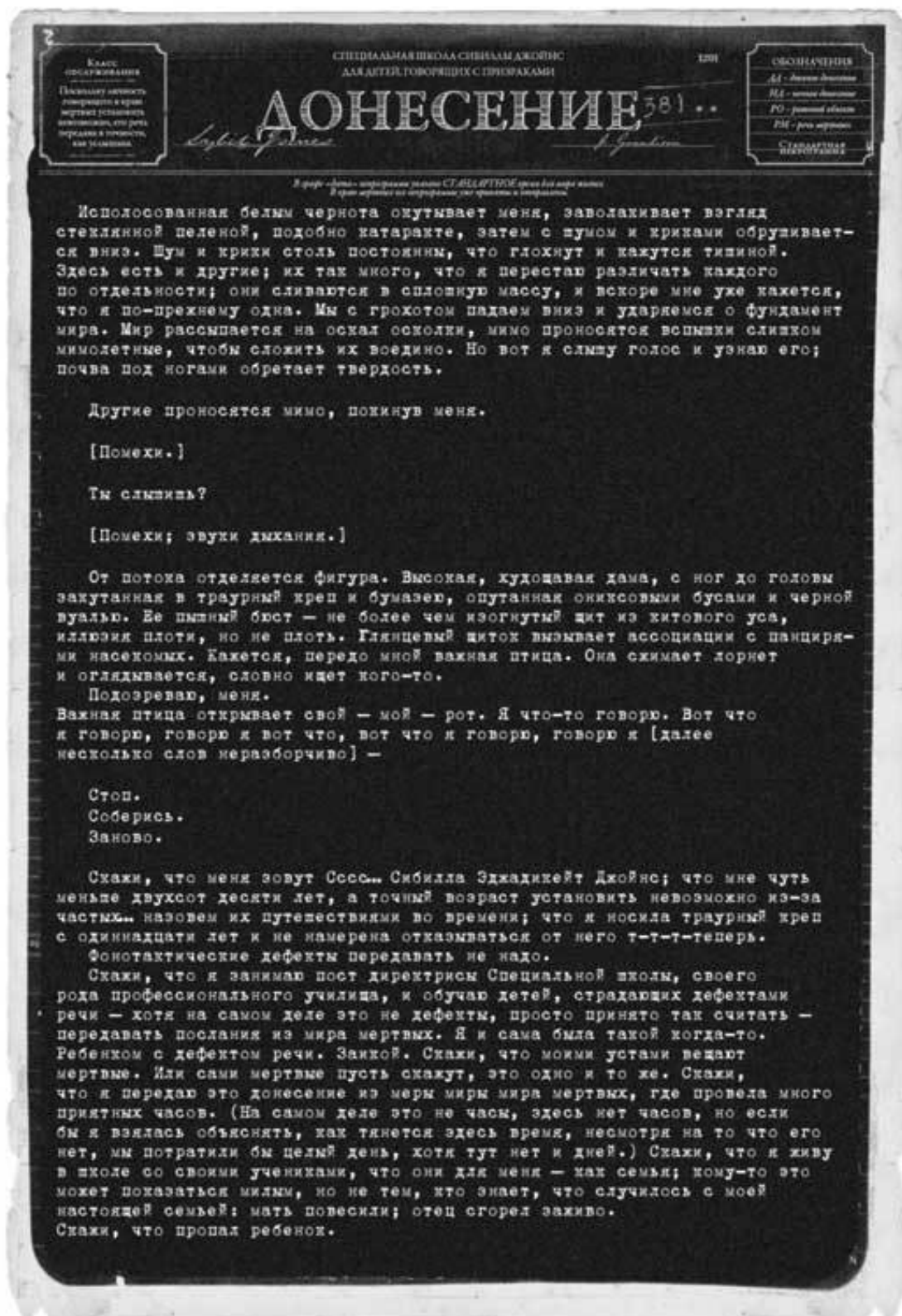
Поскольку я принадлежу к большинству и умею возвращаться к центру (мне даже немного жаль, что я обладаю этой способностью), невзирая на регулярные добровольные отлучки к периферии, я вижу ценность в том, что для истинных эксцентриков не представляет никакого интереса: в практической пользе от своих сумеречных изысканий. Ведь никто никогда не приходил к открытию абсолютной истины и нового центра, не поблуждав сперва в сумерках и не прославив немного эксцентриком.

Однако на каждого колонизатора найдется бесчисленное множество путешественников, которые останутся навек блуждать в манящих зарослях непознанного, а в письмах на родину будут сообщать и больше, и меньше, чем нам хотелось бы знать. Ведь в сумеречной зоне каждое слово можно истолковать по-разному, а есть слова, которым и вовсе нет толкования; словолитаны, словочерви, словодымки, слововодоросли. Весомость этих слов не определяется их смыслом. Директриса Джойнс говорит на этом языке, как на родном, ведь несмотря на то, что Специальная школа отмечена на картах Массачусетса в окрестностях Чизхилла, ее истинный адрес – сумеречная зона.

Поскольку эксцентричное не дает покоя тем, кто цепляется за центр, и досаждают им, как настырно повторяющийся сон, в последние годы о директрисе Сибилле Джойнс написано много не соответствующего истине. Дошло даже до того, что некоторые засомневались в ее существовании («и я их понимаю», – сказала бы она в ответ на эти сомнения). Но она действительно существовала и была не более безумна, чем любой оригинал, всецело убежденный в истинности своих взглядов; какими бы преходящими мотивами она ни руководствовалась, ее основной мотивацией всегда было стремление понять и постичь. Хотя следует уточнить, что в ее случае глубочайшая истина не могла быть постигнута напрямую, а транслировалась опосредованно, передавалась ей, подобно инфекционному заболеванию, и постигнув ее, она, конечно же, не поняла бы, с чем имеет дело.

На этих страницах найдется довольно загадок и для философов, и для сотрудников полиции, но я не ставлю своей целью разгадать их. Я собирался написать научный труд с элементами детективного романа, но отказался от этого корыстного плана. Попытки вытолкнуть эксцентричное на яркий свет рациональных доводов привели к тому, что оно оказалось не таким уж эксцентричным. Но ценность его в том, что тьма, излучаемая самой дальней частью спектра, попав на черно-белую страницу, начинает переливаться всеми оттенками благородного пурпура.

Любой, кто побывал в стране мертвых в реальности или фантазиях (а между первым и вторым не такая уж большая разница, как может показаться), наверное, уже догадался, что книгу эту можно читать с любого места. Для менее опытных путешественников я проложил маршрут. Две переплетающиеся тропы проведут нас через события одного вечера: одна из них – рассказ директрисы, вторая – ее стенографистки. Следуя им, читатель дойдет до конца, но дойдет ли он туда в целости – вот в чем вопрос. Между двумя основными нитями, подобно ритмичному орнаменту, вклиниваются дополнительные материалы научного, социологического и метафизического характера. Те, кто не желает вдаваться в научные подробности и хочет скорее добраться до конца истории, вправе пропустить эти вкрапления (возможно, даже стоит это сделать). Однако истинные эксцентрики найдут в них то, что давно искали – карту или, быть может, руководство к действию.



1. Последнее донесение

Записано стенографисткой № 6 (Д. Грэндисон)
со слов директрисы Джойнс
17 ноября 1919 года

Этот удивительный документ – послание из страны мертвых, надиктованное директрисой Сибиллой Джойнс за одну ночь, предшествующую ее кончине, с помощью передатчика ее собственного изобретения. Любая вылазка в потусторонний мир сопровождается такого рода комментариями. Порой бессвязные и двусмысленные, они тем не менее являются бесценным источником информации о непознанных сферах некрокосмоса. Есть у них и более важная функция: для некронавта эта нить повествования – жизненная необходимость, ведь она в буквальном смысле связывает его с миром живых.

Поскольку мы обитаем в мире, где есть категория времени, отправляясь в страну мертвых, мы должны взять с собой свое человеческое время, иначе мы не испытаем ничего и даже не поймем, где побывали. Согласно доктрине Специальной школы Сибиллы Джойнс, время в мире мертвых существует, пока некронавт продолжает говорить: в безвременье края мертвых мы прокладываем себе путь словами. Те становятся нашей батисферой, и с их помощью мы создаем и свое присутствие, и ландшафт, по которому перемещаемся. Надиктованное послание – и есть путешествие, в самом реальном смысле. Данное послание надиктовано в спешке человеком слабого здоровья, находящимся в крайнем эмоциональном возбуждении, поэтому оно кажется более спутанным, чем другие. Лишь самым смелым и подготовленным читателям следует брать на себя риск и читать приведенную ниже расшифровку.

На первый взгляд донесение выглядит как непрерывный связный монолог, но из показаний Джейн Грэндисон (стенографистки и преемницы Джойнс) нам известно, что монолог часто прерывался паузами различной продолжительности. В учении Специальной школы молчание так же важно, как и речь, и я долго думал над тем, как лучше отобразить эти долгие паузы на бумаге, ведь нетерпеливый читатель вполне может пролистнуть пустые страницы или грубую транслитерацию звуков, изредка прерывавших тишину.

В конце концов я решил разделить послание на отрезки, выделив продолжительные непрерывные монологи, а вместо тишины вставить между монологами другие документы. Однако читателю следует помнить, что перед ним один документ, представленный без сокращений. В идеале эту книгу следует прочесть «в один присест», начав примерно в четыре часа пополудни и завершив примерно в тот же час, когда закончилось путешествие Сибиллы Джойнс. – Ред.

Исполосованная белым чернота окутывает меня, завлакивает взгляд стеклянной пеленой, подобно катаракте, затем с шумом и криками обрушивается вниз. Шум и крики столь постоянны, что постепенно стихают и уже кажутся тишиной. Здесь есть и другие; их так много, что я перестаю различать их по отдельности; они сливаются, и вскоре мне кажется, что я по-прежнему одна. Мы с грохотом падаем вниз и ударяемся о фундамент мира. Мир рассыпается на оскал осколки, мимо проносятся вспышки – слишком мимолетные, чтобы сложить их воедино. Но вот я слышу голос и узнаю его; почва под ногами обретает твердость. Другие проносятся мимо, покинув меня.

[Помехи.]

Ты слышишь?

[Помехи; звуки дыхания.]

От потока отделяется фигура. Высокая, худощавая дама, с ног до головы закутанная в траурный креп и бумазею, опутанная ониксовыми бусами и черной вуалью. Ее пышный бюст – не более чем изогнутый щит из китового уса, иллюзия плоти, но не плоть. Глянцевый щиток вызывает ассоциации с панцирями насекомых. Кажется, передо мной важная птица. Она сжимает лорнет и оглядывается, словно ищет кого-то.

Подозреваю, меня.

Важная птица открывает свой – мой – рот. Я что-то говорю. Вот что я говорю, говорю я вот что, вот что я говорю, говорю я [*далее несколько слов неразборчиво*] —

Стоп.

Соберись.

Заново.

Скажи, что меня зовут Сссс... Сибилла Эджадикейт Джойнс; что мне чуть меньше двухсот десяти лет, а точный возраст установить невозможно из-за частых... назовем их путешествиями во времени; что я носила траурный креп с одиннадцати лет и не намерена отказываться от него т-т-теперь.

Фонотактические дефекты передавать не надо.

Скажи, что я занимаю пост директрисы Специальной школы, своего рода профессионального училища, и обучаю детей, страдающих дефектами речи – хотя на самом деле это не дефекты, просто принято так считать – передавать послания из мира мертвых. Я и сама была такой когда-то. Ребенком с дефектом речи. Заикой. Скажи, что моими устами вещают мертвые. Или сами мертвые пусть скажут, это одно и то же. Скажи, что я передаю это донесение из меры мира мира мертвых, где провела много приятных часов. (На самом деле это не часы, здесь нет часов, но если бы я взялась объяснять, как тянется здесь время, несмотря на то что его нет, мы потратили бы целый день, хотя тут нет и дней.) Скажи, что я живу в школе со своими учениками, что они для меня – как семья; кому-то это может показаться милым, но не тем, кто знает, что случилось с моей настоящей семьей: мать повесили; отец сторел заживо.

Скажи, что пропал ребенок.

[*Помехи; звуки дыхания.*]

Ты слышишь?



Рассказ стенографистки Дж. Грэндисон

17 ноября 1919 года

Юная Джейн Грэндисон стенографировала последнее послание директрисы Джойнс, сидя на своем обычном посту у медного раструба передатчика. По всей видимости, она делала следующие ниже автобиографические заметки в периоды затишья, о которых мы уже упоминали. Стоило директрисе замолчать, и Джейн вставляла в пишущую машинку чистый лист, а как только директриса снова начинала говорить, меняла его на старый. Я представляю две стопки бумаги на рабочем столе, растущие по очереди – сначала одна, потом другая (не стану высказывать весьма спорное предположение о том, что листки в стопках могли перемешаться); хотя упоминание о «ночи» во втором абзаце свидетельствует о том, что Грэндисон приступила к написанию своих заметок примерно в то же время, когда рассказ Джойнс близился к середине, следовательно, моя воображаемая картина с двумя стопками не совсем верна. Тем не менее, я предпочел чередовать их рассказы, так как это соответствует духу повествования, пусть даже идет вразрез с реальной хронологией. Как и последнее донесение Сибиллы Джойнс, рассказ стенографистки разбит на части и прерывается другими материалами.

Помимо бесценных сведений о личностях первой и второй Сибиллы Джойнс (простите мне этот онтологический солицизм, я понимаю, что разграничивать личности в данном случае не совсем уместно), в автобиографии Грэндисон живо описано первое впечатление от приезда в Специальную школу для детей, говорящих с призраками; описание это, впрочем, мы слышим из уст человека со столь тонкой нервной организацией, что я, хоть и не являюсь экспертом, осмелюсь предположить, что Джейн Грэндисон страдала недиагностированной неврастенией. – Ред.

Тихий дребезжащий голос директрисы умолк. Медный раструб передатчика, похожий на диковинный гигантский цветок – Дельфийский оракул, иерофант – перестал вибрировать; механизм остановился. Лишь легкое шипение, доносящееся из глубин передатчика – организма, состоящего из молоточков слоновой кости, медной проволоки, каучуковых камер и бумажных перегородок, плотно приткнувшихся друг к другу внутри футляра красного дерева, подобно органам, занимающим каждый строго отведенное ему место внутри брюшной полости, – свидетельствует о том, что канал открыт, на моих глазах по-прежнему происходит чудо.

У меня есть минута, а то и больше, и можно собраться с мыслями. Ночь предстоит длинная. На все, что требуется, времени должно хватить. Но чтобы суметь исполнить свой долг, я должна понять, кто я. Когда я засомневалась в ответе на этот вопрос? Вероятно, еще в самый первый день.

Мне было одиннадцать лет, я могла написать свое имя задом наперед и зеркально, но не могла произнести его, и уже несколько раз видела мертвых. Меня не пугала перспектива услышать их. Так я и сказала тетке, когда та, притворившись удивленной, вручила мне письмо из Специальной школы Сибиллы Джойнс для детей, говорящих с призраками: «Мы рады предложить вам место... Полный пансион... Просьба ответить как можно скорее». Я поняла, что тетка решила избавиться от меня, и гордость велела мне ответить «да» в любом случае, но мое «да» шло от сердца. И сейчас, когда блестящий черный автомобиль, выглядевший слегка угрожающе и взятый нами напрокат в Спрингфилде, нес меня вперед к новому месту учебы, дыхание мое участилось, но не от страха, а от любопытства и предвкушения.

Машина наскочила на камень, и я схватилась за потолок. После Чизхилла дорога стала хуже, теперь она представляла собой две параллельные колеи. Моя сопровождающая – чопор-

ная, мертвенно-бледная дама в траурном вдовьем одеянии – дважды постучала тростью по спинке водительского сиденья.

– Эй, вы! На нас места живого не останется!

Темно-коричневые, почти черные пальцы крепче схватились за руль.

– Надо обогнать грозу, мэм, – если дождь пойдет, я по этой дороге домой до завтра не вернусь.

И верно, ветер нес с собой запах ливня, а в просветах между кронами деревьев виднелись грозовые тучи, сгущающиеся над горами, хотя над нами все еще светило солнце.

– Грозу, говорите? Вы что же, дитя малое, грозы бояться? Заночуете в школе.

Водитель не ответил, лишь погнал быстрее.

Я говорила, что видела мертвых – так вот, то были моя мать и Битти. Обоих унес грипп. Отец умер задолго до того – Битти тогда еще грудь сосала. Сказать по правде, если бы они заговорили, я бы испугалась. Но я почему-то знала, что они не заговорят. И мне вполне хватало их молчания.

Я смотрела на пронесившиеся за окном деревья сквозь свое неподвижное отражение. Оно угрожающе нависло надо мной – моя точная копия с тяжелым оценивающим взглядом. Я же упрямо смотрела сквозь него и впитывала все, что видела; все казалось необычным, чудесным, хотя само по себе было совершенно непримечательным – темные леса, затопленные поля, маленькое, заросшее камышами зловонное озерцо и одинокая цапля на перевернутой красной лодке с проломленным дном, готовящаяся взлететь. Я приподнялась на сиденье, словно тоже собиралась взмыть в небеса.

– Не ерзай, дитя.

Булавкой бы ткнуть эту мисс Тень, подумала я, устремив холодный взгляд на две булавки, которыми черная фетровая шляпа моей сопровождающей крепилась к прическе – длинные, с круглыми черными наконечниками. Не глядя на меня, мисс Тень неловко заерзала на сиденье, а я догадалась, что, как и моя тетка, спутница моя испытывала к цветным те же чувства, что к паукам и змеям: даже рядом с самыми маленькими представителями нашего рода ей было неуютно. Догадка эта ничуть не удивила меня; впрочем, и не обрадовала.

Я нарочно отвернулась к окну, но поскольку теперь сидела, откинув голову, взору моему не открывалось ничего интересного: только ветки, небо и мое отражение. Я была невысокой, тщедушной девочкой, темнокожей и несурзной, и отражение в стекле лишь подтвердило это. В жизни я достаточно насмотрелась в зеркала и не питала надежд. Надежд когда-нибудь стать красивой и заполучить все, что к красоте прилагается.

Не то, чтобы я была безобразна, нет; но на моем лице застыло унылое, жесткое, оценивающее выражение, не делавшее меня привлекательной. Впрочем, оно полностью соответствовало моей природе. Жизнерадостность была мне несвойственна.

С упрямством летящего на свет мотылька я смотрела в ту сторону, где, по моим расчетам, должна была находиться школа. Перед отъездом мне показали фотографию большого здания из черного камня; перед ним стояла высокая женщина с белым крупным мужским лицом, одетая в длинное черное платье, и выстроившиеся в шеренгу дети с черными повязками на руках; среди них были цветные, как и я. Мне сказали, что «девочка с такими выдающимися способностями», как у меня – я и не догадывалась, что у меня есть способности, тем более выдающиеся, – может учиться в школе бесплатно, и получать стол и кров. Сказать по правде, дополнительные удобства меня мало интересовали: я бы и за меньшие отправилась хоть в Монголию, хоть на Луну.

Мне казалось невероятным, что я вырвалась из теткиного дома, что наконец-то уезжаю. Заикание, причинившее мне столько бед, стало моим билетом на свободу.

Мне было всего семь лет, когда я впервые услышала Голос (так я его про себя называла). Тогда, после окончания карантина, я переехала в большой дом своих дяди и тети в Бостоне.

Голос рычал и плевался у меня в глотке, а новые опекуны били меня ремнем для правки бритв, не зная другого способа исправить мой недостаток. Они добивались лишь одного: чтобы я слилась с бесцветной толпой их собственных детей, которых у них было шестеро или семеро. Увы, это не представлялось возможным. Во-первых, от других меня отличал темный цвет кожи – моя мать, как и тетка, была ирландкой, белой, как мел, но отец – черным. Тетка делала вид, что не замечает этого, но то и дело подсовывала мне отбеливающие кремы и зонтики – единственные предметы роскоши, которыми я обладала. Однако никто не стал утруждать себя попытками исправить мое заикание. Даже малышка Аннабель, ходившая в подгузниках, скоро сообразила, что, передразнивая меня, можно насмешить старших братьев и сестер и заслужить одобрительную улыбку взрослых.

Я до сих пор ее помню, хоть картинка уже начала блекнуть: топающие по паркету толстые ножки, подгузник из тонкой шерсти, скрепленный одной-единственной булавкой.

(«Моя шляпа!» – возмущенно воскликнула мисс Тень, когда автомобиль подпрыгнул на очередном ухабе, и дешевые перья смялись, ударившись о потолок. Она вынула булавки, осмотрела шляпу на предмет повреждений, положила ее на сиденье между мной и собой и стала придерживать жилистой рукой.)

Несмотря на издевки, я ни минуты не сомневалась, что со мной все в порядке, хоть у меня и не было причин так думать. Если бы я тогда подозревала, что заикание – это признак «редкой природной способности общаться с призраками» (о чем впоследствии мне сообщила мисс Тень), я бы гордилась этой своей особенностью, сколько бы надо мной ни насмехались теткин дети. Но я не знала об этом и пыталась бороться с Голосом. Тот неизменно побеждал. В моем детстве были периоды, когда я говорила, почти не заикаясь, а было время, когда я не могла произнести ни слова, и если полисмен на улице спрашивал у меня дорогу или учительница в школе просила назвать столицу Литвы, я оказывалась в довольно неловком положении. Я научилась обходиться жестами и звуками – показывала пальцем, мычала, не считая это ниже своего достоинства. Но нас отличает от животных способность говорить, и мне часто ставили это в укор; для окружающих я была не совсем человеком.

А в Специальной школе много таких детей, как я, есть даже те, кто заикается сильнее. Вот бы встретиться с теми, кто хуже меня. Есть там, наверное, такие, кто пускает слюни? Трясет головой и шипит, как гусь?

Дома – я имею в виду дядин и тетин дом в Бостоне – на стене висела картина. Когда-то она украшала стенку пчелиного улья в одной славянской стране; не знаю, как она попала к дяде с тетей и зачем они ее оставили. По соседству с мерцающим хрусталем, абажурами с бахромой и темной мебелью из отполированного до мягкого блеска красного дерева картина выглядела варварски, чужеродно. Грубое изображение женщины с разинутым ртом, из которого высовывается ужасающе длинный язык; точнее, не сам высовывается – его вытягивает громадными щипцами голый черт. Занятно, что человеческий язык словно настроен враждебно к главному органу речи; недаром мы пренебрежительно называем «язычниками» невежественных дикарей. С одного конца язык на картинке разветвлялся, и я приняла эти разветвления за корни, подобные корням дерева. В одной из моих книг мне попалось упоминание о том, как язык кому-то вырвали «с корнем», и с тех пор он представлялся мне чем-то вроде овоща, а не частью тела, занимающей в нем положенное место. Мой собственный опыт это подтверждал: у меня во рту росло нечто чужеродное, теплое и живущее своей жизнью. Поэтому изображенное на картинке казалось мне отчасти реальным, и в полудреме мое воображение рисовало страшные картины: если мой язык не вырвать с корнем, как морковку, он разрастется и займет еще больше места, зацветет и покроется семенами. На самом деле не язык, а Голос пророс в моей глотке, как сорняк, и не было щипцов, способных выдрать его. Но если и нашлись бы такие щипцы, то дьявол, ими орудующий, был бы женщиной с мужским лицом в черном платье.

Автомобиль снова подпрыгнул на ухабе, и стукнувшийся о грудь подбородок царапнула жесткая грубая ткань нового платья – прощального подарка тетки. Более любящая и любимая воспитанница могла бы обидеться, что ее так поспешно выпроваживают вон, но я была рада. О, как же я радовалась! Ненавистная тетка Маргарет. Ее ненавистные дети. Ненавистный дом. И ненавистная я, покуда оставалась в этом доме. Там я была плохой, злой, настолько злой, что при воспоминании об этом сглатывала комок в горле, пугалась себя и даже восхищалась собственным злонравием; но теперь я злой не буду. Я буду хорошей, такой хорошей, что никто никогда больше не выводит меня вон.

Шляпа мисс Тени так и лежала на сиденье рядом; черные наконечники булавок поблескивали среди перьев, как пара глаз. Шляпа следила за мной, проникала в мои мысли, а думала я о том, как легко было бы потянуться и всего двумя пальцами...

Мне пришлось вцепиться в сиденье двумя руками. Машину тряхнуло; она закачалась и снова подпрыгнула. Мисс Тень негодуяще фыркала носом. Мы подъехали к самому разбитому участку дороги: водосточная канава вышла из берегов и залила путь, размыв глину между крупных камней. Мне стало любопытно, что станет с дорогой, если нас здесь застанет гроза, но уже в следующее мгновение я отвлеклась.

Внутри меня, в самой середине живота, что-то натянулось и надорвалось; я почти слышала треск разошедшихся швов, затем ощутила, как что-то мягко выскальзывает вниз. То ускользала моя прошлая жизнь, выпадая из меня, как закладка из старой книги. Переживания, еще недавно казавшиеся реальными, рассыпались в прах. Двоюродные братья и сестры, тетка, солонина с капустой, печаль, наваливавшаяся на меня, как медленная и неумолимая глухота – существовало ли все это на самом деле? Я охотно поддалась воле, которая была гораздо сильнее моей, и позволила увлечь себя к новому началу.



Документы

Мое детство

Следующий документ, предположительно написанный самой Сибиллой Джойнс, активно обсуждался в критической литературе. Я получил его в виде файла pdf от представителя Специальной школы на довольно позднем этапе своих исследований, когда уже перешел к составлению этой антологии. Впоследствии я обнародовал этот документ, снабдив его комментариями и представив как скромное, но все же, открытие. Разумеется, он произвел переполох, так как пролил свет на ранний период жизни директрисы, представив ее фигуру в новом и гораздо более интимном ключе. Мой авторитет в научном мире не оставлял сомнений, но после того, как документ приобрел канонический статус – а случилось это очень быстро, – ряд небольших анахронизмов в тексте начал вызывать вопросы научного сообщества, и в конце концов несколько крупных ученых пришли к единодушному выводу, что это подделка, и заявили об этом публично в ходе моего выступления в Гёттингенском университете по случаю вручения мне почетного звания, нанеся тем самым немалый урон моей репутации.

Залившись краской, все еще сжатая в руках пергаментный свиток с кисточкой (та непонятно как зацепилась за мои очки) и жалея о выпитом шампанском, я был вынужден тут же отстаивать подлинность документа, то есть, по сути, защищать свою репутацию честного ученого. Вместе с тем у меня засосало под ложечкой, и едва ли инициаль с клетками был тому виной – то дали о себе знать мои собственные сомнения, возникшие, когда документ оказался у меня в руках.

Наконец группа ученых из Нидерландов попросила разрешения взглянуть на оригинал, написанный от руки, – то есть сделала то, что изначально следовало сделать мне. Спор разрешился мгновенно: оказалось, что оригинал написан шариковой ручкой. Как известно, Ласло Биро запатентовал шариковую ручку в июне 1938 года, а Джойнс скончалась задолго до этой даты. Я тут же деликатно пошел на попятную, не упоминая, как ко мне попал документ, дабы никого не обидеть. Но вопросы остались. Если я стал жертвой розыгрыша, какова была цель? Неужели представители Специальной школы не заинтересованы в моем проекте? И если так, зачем они пытаются казаться заинтересованными? Почему подделка настолько хороша в одном отношении (автор документа, несомненно, был прекрасно осведомлен о делах Сибиллы Джойнс и Специальной школы) и настолько плоха в другом (неужели сложно было раздобыть чернильницу и перо)? Наконец, как быть с тем, что подделка проясняет многие неясности в документах, подлинность которых не оставляет сомнений? Стоит ли принимать содержащиеся в ней сведения хотя бы как гипотезу, если не факт? Прочитав историю директрисы, пусть даже и поддельную, я почувствовал, что многое встало на свои места; узнав о подлоге, я уже не смог вернуться к прежнему восприятию. Вымысел присвоил себе факты; я больше не воспринимал их отдельно от вымысла.

Я поделился своими соображениями с научным сообществом, и после длительных обсуждений мы с опаской написали коллективное письмо представителям Специальной школы – настоящий шедевр деликатного иносказания, крайне тактичный запрос более подробной информации о происхождении спорного документа. Мы даже предположили, что представители школы сами стали жертвой фальсификатора, которым мог оказаться кто-то в их собственных кругах. Ответ пришел почти мгновенно, ошеломив и встревожив нас своей честностью.

Разумеется, документ современный! Его составили всего за несколько дней до того, как отправить мне! Директриса решила, что моей книге не повредит больше автобиографических сведений о ней, и поспешила их мне предоставить. Идет ли речь о новой директрисе? И да, и нет. Новая, старая – в контексте Специальной школы бессмысленно их разграничивать, ведь

новая директриса и есть старая. Она продолжает занимать свой пост лишь до тех пор, пока ее устами говорит призрак Сибиллы Джойнс.

Это заявление не только дискредитировало документ, о котором шла речь, но и бросало тень сомнения на все якобы «исторические» материалы, которые представители школы присылали мне до этого. Но они этого не понимали. В ответ на мое беспокойство из-за возможных обвинений в плагиате мне присылали эмодзи, разводящие руками. Бессмысленно настаивать на верификации авторства, если «НИКТО из нас не является своим хозяином в полной мере» и «ВСЕ мы – не более чем рупор для мертвых». (Выделение заглавными буквами, как в оригинале.) Мне прямо заявили, что моя бессмысленная настойчивость свидетельствует о неверии в способность мертвых говорить, а значит, я рискую испортить наши отношения со Специальной школой и утратить доступ к бесценному источнику информации о ней.

И я пошел на попятную.

Для себя я решил, что этот документ хоть и является современным, сведения в нем правдивы, и я не стану исключать его из серьезных исследований, касающихся истории Специальной школы. Однако позволю читателю самому определить, кого сей документ характеризует лучше – старую директрису, новую или нас, ученых. – Ред.

С детства меня преследовала сильнейшая, инстинктивная уверенность в том, что я – не такая, как все. Однажды рядом со мной упала кость, отскочила от земли и чуть не ударила меня в голову; она как будто бы упала с большой высоты, но оглянувшись, я не увидела вокруг ничего, кроме старой лошади, щипавшей траву вдалеке, на краю поля. Значит, та кость была знамением – не от Бога, не от кого-то там, наверху, а просто знамением, сообщавшим, что я не такая, как все, и со мной будет случаться всякое странное. В другой раз колибри, нацелившись полакомиться бругмансией, сменила курс и вместо цветка доверчиво села мне на палец, обхватив его коготками. Я прежде и не догадывалась, что у колибри есть лапки, но теперь чувствовала их на своей коже и сумела хорошенько разглядеть и ее пульсирующую радужную шею, и хохолок с тонкими перышками, и жидкий блестящий глаз. Даже после того, как птица встрепенулась и вспорхнула, я продолжала ощущать ее теплое когтистое прикосновение, невидимым кольцом сжимавшее мой палец; я словно обручилась с этим невероятным мгновением. Не восторг я ощутила в тот момент, нет, а подтверждение своих ожиданий, того, что я знала и раньше: я окончательно утвердилась во мнении, что на свете есть чудеса, это и еще множество других, из которых состоит жизнь, как ожерелье состоит из нанизанных на шнурок разноцветных стеклянных бусин.

– Напомни, как тебя зовут? – спрашивает Сюзанна, а Мэри кашляет, закрыв рот толстой веснушчатой ладонью. Сюзанна – моя соседка, живет за забором, отделяющим нашу зеленую лужайку от ее пожухлой, заросшей сорняками; через этот забор мы сейчас и переговариваемся. Отец Сюзанны работает на фабрике моего отца. Как и отец Мэри. Мэри знает, как меня зовут.

Дыхание в горле затвердевает и превращается в стекло; я давлюсь, пытаюсь выплюнуть его, давлюсь снова и снова. Язык в передней части рта никак не хочет стоять ровно, приводя меня в бешенство; он тщетно колотится о зубы.

– Ссссс... – отвечаю я, но вряд ли это можно считать ответом.

Сюзанна склоняет набок сияющую золотистую головку, и я заливаюсь краской. Мне стыдно не только за невнятный звук, который я издаю – прерывистое шипение, – но и за волосы, прилипшие к шее, за ссадины там, где натирает платье, за указательный палец, на который я накручиваю юбку, словно желая задушить его. Мне стыдно за сам факт своего существования. Как будто моя истинная сущность проявилась из тумана и намеков лишь сейчас, когда мой неповоротливый, влажный, резиновый язык решил заявить о себе.

Мне так стыдно, что я не желаю больше оставаться собой. Я не испытываю никакого сочувствия к этой несчастной, лишь страх и отвращение. Судьи взирают на мой рот с пытли-

востью коронера, разглядывающего улики. Мне хочется подать сигнал, что я на их стороне, что я тоже настроена против себя. Но для этого нужно заговорить.

– Ссссссс...

Я наклоняюсь вперед, затем назад, склоняю голову вбок, как будто объясняю что-то сложное полными предложениями. Вытягиваю руку (вторая по-прежнему теребит юбку). Иногда мне удается убедить себя в том, что я уже говорю, и тогда слова начинают литься сами собой. Но сейчас трюк не срабатывает. Мне по-прежнему не удастся вымолвить ни слова, я ничего не говорю; молчание, тишина – вот мое имя.

Девчонки хихикают. Открывается задняя дверь. Взвизгнув, они убегают.

– Иди в дом, Сибилла, – говорит отец.

Представьте меня девятилетней или десятилетней пухлой девочкой с кошмарными волосами. Жесткий цилиндрический лиф гнойно-желтого платья из органди собирается в складки под мышками, где уже растекаются темные круги пота; шелковые чулки сползли до самых туфель из свиной кожи. Я заикаюсь так сильно, что подбородок заливаet слюна, поэтому чаще предпочитаю молчать. Мой дефект, а также высокое общественное положение родителей не располагает ко мне других детей; впрочем, и родители не питают ко мне особой нежности. Отец воспринимает мое заикание как личное оскорбление, а меня – ходячим (и притом молчаливым) упреком своим амбициям. Он-то, конечно, надеялся на сына – идеального наследника мужского пола, который однажды занял бы его место. Но вместо сына родилась я, и отец обвинял в этом несчастье мою слабохарактерную мать и ее неблагородную матку. Мать печально и молчаливо с ним соглашалась.

Я воспринимала бы нежелание окружающих иметь со мной что-либо общее не так остро, если бы вокруг было бы хоть что-то достойное разглядывания. Но Чизхилл был и остается унылым захолустьем. Он стоит на болотистых, поросших камышом берегах маленькой, невзрачной, мелкой и мутной реки. Примерно раз в десять лет река разливается, превращаясь в неумолимое бурое чудище, и сносит дома вместе с фундаментами вдоль всей Коммон-Плейс-роуд. Таким образом, любые исторические здания, если они когда-то и были в Чизхилле, стираются с лица земли раз в десять лет; когда я была маленькой, город мог похвастаться лишь одной такой постройкой (сейчас и ее смыло) – фабрикой пианино, унаследованной моим отцом от своего отца, на чем наследная линия и оборвалась (моя ничтожная личность не в счет). Фабрику построил двоюродный дед отца на небольшой каменистой возвышенности, в честь которой, вероятно, город и получил свое название (при чем тут сыр – Чиз-хилл – я не имею понятия); впрочем, та едва ли заслуживала называться холмом, так как возвышалась над остальным городом лишь самую малость.

Вероятно, мои предки решили назвать эту кочку холмом, чтобы возвыситься в собственных глазах, доказать себе, что холм, а, скорее, даже фабрика, на нем построенная, является в городе самым важным местом, поскольку во всей округе не было других предприятий и большинство местных жителей работали именно там. Можете себе представить реакцию последних, когда фабрика сгорела, а я отказалась отстраивать ее заново на деньги, полученные от страховой компании, – а мне выплатили порядочную компенсацию. Вместо этого несколько лет спустя я купила и отремонтировала заброшенные корпуса Чизхиллского исправительного дома для заблудших девиц, вопреки местной традиции, построенные над поймой и довольно далеко от города, среди настоящих холмов. По замыслу начальства исправительный дом был построен так далеко от города, чтобы заблудшие девицы не могли заразить распушенностью благочинных девушек Чизхилла или заманить в свои развратные сети благовоспитанных чизхиллских юношей, что, однако, не останавливало последних, регулярно совершавших паломничества на территорию исправительного дома в надежде увидеть какие-нибудь примеры распушенного поведения. В одну из таких вылазок и произошло событие, которое лично я считаю пренеприятнейшим – речь о знакомстве моих родителей. Следствием этого происшествия стало то, что

моя мать потратила всю оставшуюся жизнь, оправдываясь перед отцом за свою распущенность, которая и привлекла его к ней. Все, что очаровывало его в любовнице, в жене он презирал, и к моменту нашей с ней встречи она превратилась в создание, безмолвное и совершенно бесцветное, если не считать синяков.

Таким же бесцветным был центр Чизхилла (представьте, каких усилий стоило мне не поддаваться унынию, прозябая в этом болоте) – бесцветным в буквальном смысле, ибо местные строители, начисто лишенные воображения, обшивали дома белыми досками, но и в переносном смысле тоже: город по сей день не оправился после закрытия главного предприятия, главная улица пустынна, в небольшой городской библиотеке книг раз-два и обчелся, паб держится на плаву лишь благодаря паре пьяниц, невидящим взглядом встречающих любого незнакомца, по ошибке заглянувшего в это заведение в надежде насладиться очаровательной атмосферой маленького городка. Лишь пожарная часть может похвастаться новенькой блестящей пожарной машиной и новым слоем краски – но тут на ум приходит пословица «после пожара, да по воду» (это я не о краске, а о машине).

Вероятно, в Чизхилле все-таки было что-то не совсем отталкивающее, но хоть убей, не могу припомнить, что именно.

Ах да, улитки. Полчища улиток. Самые жизнерадостные городские обитатели, по ночам они пировали в огородах, а днем отсыпались, укрывшись в панцирях и прицепившись к дощатой обшивке стен. Не все любят улиток, это факт, но мне всегда нравилось наблюдать за изящной молодой улиткой, вытягивающей блестящую шейку. Оптимистично вытаращив глазки на длинных стебельках, она обдумывает, куда бы направиться дальше, и оставляет за собой серебристую полоску слизи. Отец берег свои помидоры и салат как зеницу ока, так как воображал себя увлеченным огородником и часто выписывал семена новых гибридных видов, сочетавшие исключительный вкус и устойчивость к вредителям. Истребление чизхиллских улиток стало для него делом чести, но, в отличие от моих кроликов и матери, те возвращались (не те же самые, конечно, а новые), полные энтузиазма, и продолжали пожирать драгоценный отцовский салат.

В Специальной школе мы не травим улиток, хозяйничающих у нас в огороде, и не топим их в мыльной воде. Наши дети аккуратно снимают их с капустных листьев и относят на край школьной территории. Я выбрала для высадки улиток место специально поближе к огороду нашего ближайшего соседа, и мне ничуть не совестно, хотя во избежание недоразумений я просила детей выпускать пленных ближе к вечеру, когда стемнеет.

Я говорила, что в Чизхилле бывают наводнения. Возможно, вам любопытно, почему, будучи богатейшей семьей в городе (скажу больше – мы были *единственной* богатой семьей), мы не построили дом выше приливной отметки. Дом наш крепился к фундаменту железными болтами – мера, которую чизхиллские фаталисты принимали редко – но из-за отцовской гордыни тот счел необходимым построить его в самом центре города как свидетельство нашего положения в центре общества, поэтому от наводнений страдали и мы. Отец отказывался эвакуировать нас, слепо веря в свои меры предосторожности, и я хорошо помню, как смотрела в окно второго этажа под тихие всхлипы матери, рыдавшей на кровати, а внизу расстилалась атласная гладь бурых вод, казавшихся почти неподвижными, если бы не проплывавшие мимо ветки, доски, дохлые куры и прочий мусор, время от времени ударявшийся о киль нашего судна (в наводнение наш дом представлялся мне судном) с силой, заставлявшей меня вздрагивать. Как весело было сидеть на верхней ступеньке лестницы – я совсем не испытывала страха, так как к своей досаде знала наверняка, что отец никогда не позволит ничему интересному случиться с нами – и смотреть на грязные волны, плещущиеся у перил всего в нескольких футах внизу и уносящие с собой дешевую эмалевую вазу, которую отец не счел достойной спасения, хотя мать ее любила. Сначала она плыла горлышком вверх и потому возвышалась над водой; затем

волны ударили ее о перила, она накренилась, вода залилась внутрь, и ваза потонула. Потом я нашла ее под слоем ила и спрятала подальше.

В тот раз железные болты выдержали; выдержали они и в следующий раз, и в следующий, а потом наконец поддались, но это случилось уже после смерти моих родителей, когда я, молодая директриса, была целиком поглощена делами школы, хозяйственным устройством которой тоже грозило наводнение. Но я все же пошла взглянуть на отделившийся от фундамента дом. Он съехал вбок и, подбоченившись, восседал на лужайке, как сдвинутый набекрень щегольской берет; одна сторона его погрузилась в землю, другая задралась. Через дыру в стене я увидела грязную кушетку, а на ней – лосиную голову: не утонувшего лося, а убитого задолго до этого ради раскидистых рогов. Отрубленную голову затем прикрепили к табличке, а табличку повесили на стену, но теперь она рухнула и отдыхала на кушетке после стольких лет, проведенных в вертикальном положении.

Меня всегда занимал вопрос, существуют ли призраки мертвых животных. Я бы с радостью выслушала этого лося. Однако подозреваю, что тот, кто говорить не умеет, не научится этому и после смерти, и, если животные и посещают наши глотки, то лишь для того, чтобы изредка печально тявкнуть или промычать.

Впервые услышав об исправительном доме для заблудших девиц, я представила себе летящую юбку из лоскутков наподобие тех, что носили цыгане, и стала наблюдать за матерью, следя, не готовится ли та в скором времени отбыть в дальний путь. Мне казалось, что «заблудший» от слова «блуждать», ведь именно этим занимались цыгане – блуждали из края в край. Я так живо нарисовала эту юбку в своем воображении, что даже перерыла на чердаке мамин комод и старый сундук с медными скобами, уверенная, что найду юбку среди ее вещей, но, к своему разочарованию, нашла лишь кипу белого, персикового, розового, бежевого и голубого.

То ли оттого, что я искала это в матери, то ли оттого, что она действительно была не от мира сего, мне все время казалось, что она вот-вот покинет нас, сорвется с места и уйдет блуждать. Однажды утром я проснулась в пустом доме, убежденная, что мать наконец ушла. Как была в ночной рубашке и домашних туфлях, с широко раскрытыми и мокрыми от слез глазами, я добежала до самой Коммон-Плейс-роуд, но у дороги, ведущей к воротам фабрики, свернула обратно, так как поняла, что решилась мама сбежать, она никогда бы не направилась в ту сторону. Я бросилась обратно к дому, парадная дверь которого так и осталась распахнутой, пробежала через комнаты к заднему крыльцу и там, на ступенях, обнаружила мать, глядевшую на реку. Я села рядом; мать обняла меня, не отрывая взгляда от раскинувшейся перед ней шелковой глади, а я так и не спросила, вернулась ли она ради меня или никогда не уходила.

Когда я лучше стала понимать, что значит «заблудшая», я стала и это качество искать в матери, но та не демонстрировала никаких его признаков; ее распушенности, как и существованию юбки из лоскутков, не находилось никаких подтверждений, хотя отец видел приметы испорченности даже в том, как она вела дом или разговаривала с почтальоном, а после того, как мать, по его мнению, слишком любезно обменялась репликами с зеленщиком, продавшим ей лимоны, попрекал ее этим неделями.

С отчаянной надеждой я наблюдала, как мать поправляет кружевные салфеточки, выравнивает стулья у стола и одергивает юбку перед приходом отца, и, к недовольству своему, не находила в ней ни капли распушенности – только скуку и чопорность. Лишь иногда, в отсутствие отца, она снимала туфли, выходила в сад и стояла босиком на траве под деревьями, совершенно неподвижная и апатичная; эти босые вылазки – все, что осталось от летящей юбки из лоскутков, если та когда-либо существовала.

Помню, как однажды, после того, как мать чересчур фамильярно попросила у мясника баранью ногу, отец ударил ее, а я увидела это в приоткрытую дверь спальни. «Женитьба на тебе стала моим крахом!» – закричал он, упал на пол, стал рвать на себе волосы и бить себя

по лицу – то есть делать все то, за чем мне всегда было так весело наблюдать. «Беа, Беа, я так хотел, чтобы все было иначе! Ты простишь меня, Беа?» – причитал он.

Я не выдержала и рассмеялась.

Мать подошла к двери и, прежде чем закрыть ее, взглянула мне в глаза и тихо покачала головой. Одна ее скула распухла, и с той же стороны что-то странное происходило с глазом. За ужином я увидела у нее в глазу блестящий вишнево-красный кружок, наподобие зловещего второго зрачка поднимающийся из-под нижнего века. Испугавшись его пристального взгляда, я уткнулась в тарелку. То, что я увидела на ней, было едва ли не страшнее: тонкая коричневая струйка подливки, вытекающая из-под куска баранины, будто он был ранен и истекал кровью; горстка серой крупы – отец заставлял нас есть полезные злаки; вялые горошины. Когда мать пришла укладывать меня в постель, я в ужасе вжалась в стену.

К моему ужасу примешивалось и отвращение, ведь, подобно отцу, я принадлежала к людям, ненавидящим слабость. Немая покорность матери вызывала у меня негодование, ведь я считала ее существом, во всем намного превосходящим отца и при любой возможности вставала на ее сторону, надеясь, что это побудит ее взбунтоваться. Так, поняв, что отца вывел из себя инцидент с бараньей ногой, я стала повторять это словосочетание как можно чаще. Отчетливо помню, как кричала «Б-баранья нога, б-баранья Н-Н-НОГА!», а он лупил меня линейкой.

Баранину я до сих пор недолюбливаю.

После порки я, само собой, начинала плакать, корчась от боли, и гладить его ноги в беззвучной мольбе. И то была не трусость, как кажется на первый взгляд, а тоже своего рода неповиновение, потому что для моего отца не было ничего более отвратительного, чем пресмыкательство, и я порой задаюсь вопросом, не преследовала ли моя мать ту же цель своим раболепием. «Не ожидал, что моя дочь окажется такой рохлей», – фыркал отец и прекращал мое «воспитание», как он называл избивание, чтобы взяться за изучение брошюры о принципах наследственности: криминальные склонности, расстройства психики и нищета, прослеживающиеся у нескольких поколений обитателей казенных домов; наследственные болезни моллюсков и растений семейства бобовых; история кошки, попавшей в капкан и лишившейся лапы, потомки которой рождались хромыми, и так далее, и тому подобное.

Вы, наверное, догадались, что мой отец принадлежал к людям с научным складом ума, и действительно: он выписывал и регулярно читал журнал «Американский естествоиспытатель», а также ежемесячник «Популярная наука», «Вестник телеграфии и электрики», «Медико-хирургический вестник», «Американский стоматологический журнал», «Практическую санитарию», «Новое в водолечении» и прочие подобные издания, которыми он руководствовался в организации своей жизни, управлении предприятием, моей матерью и мной. Наши полки были заняты сплошь научными трудами, расставленными в соответствии с научной классификацией. Наш дом поддерживали в чистоте последние достижения науки и техники – по крайней мере, так полагал отец, а мать украдкой сметала пыль в тех местах, куда не сумела добраться наша суперсовременная подметальная машина с ручным насосом. Наш рацион был научно составлен, и даже пищу мы пережевывали по науке: жевать полагалось определенное количество раз под счет отца, который прерывался лишь для того, чтобы сообщить нам научные подробности того, что происходило в его пищеварительном тракте, очищавшемся от нечистот благодаря полезным ингредиентам. На случай, если полезные ингредиенты не справятся, у отца всегда были наготове пилюли.

Надеюсь, теперь вам понятна сфера интересов моего отца. Помимо всего прочего, он увлекался фотографией, телеграфией, парфюмерным делом, разведением шелковичных червей, современной санитарией, коллекционированием антикварных десертных ложек, гипнозом, водолечением и новыми методами экстракции сахара из дынь. Иногда его интерес ограничивался лишь критическими наблюдениями, но нередко прочитанное в научных журналах вдохновляло его на организацию целого предприятия; он выписывал оборудование и матери-

алы и предвкушал, как займется совершенно новым видом деятельности, ибо человек столь нетерпеливого холерического нрава не мог довольствоваться управлением фабрикой, полученной по наследству. Однако тот же холерический нрав противился всякой продолжительной упорной работе и не давал ему закончить начатое, поэтому лишь немногие из его авантюр пережили период первоначального страстного увлечения. Порой ему достаточно было лишь выписать оборудование, чтобы удовлетворить свой аппетит; когда же по почте присылали тысячу упаковок колючих семян навозного цвета или некий липкий ком в помятой, потертой, покрытой пятнами и почтовыми ярлыками картонной коробке, он уже забывал, зачем выписал все это и даже что это, собственно, такое.

Но чаще он терял интерес, столкнувшись с первым серьезным препятствием. К тому времени дом успевали заполнить красители всех цветов радуги и стеклянная пыль, образовавшаяся в процессе шлифовки линз, и к делу подключалась мать, пытаясь вернуть хоть что-то из потраченных денег. Гораздо более практичная, чем отец, с годами она научилась перепродавать товары самого разного рода и, бывало, даже выручала на этом какие-то деньги, но, к моему негодованию, никогда не пыталась оставить себе хотя бы часть заработка, увеличив таким образом жалкие суммы, которые выдавал ей отец на все ее и мои нужды, а ведь она легко могла это сделать. Она отдавала всю выручку отцу и терпеливо слушала его недовольное ворчание, ибо тот, разумеется, считал «торгашество» ниже своего достоинства, но все же полагал, что если бы он сам этим занялся, у него получилось бы гораздо лучше, чем у матери. Он задавал ей вопросы о заключенных ею сделках, вероятно, казавшиеся ему умными, и неизменно завершал разговор, сокрушаясь отсутствию у нее делового чутья, хотя именно это чутье не раз спасало нас от бедности, а, вероятно, и разорения, так как бессмысленные отцовские капиталовложения регулярно пробивали в семейном бюджете огромную дыру.

Его расточительность становилась особенно неуправляемой, когда он оправдывал ее научными исследованиями. Отец мнил себя великим ученым, хотя подробности его научной деятельности оставались загадкой даже для него самого. Превыше всех он почитал изобретателей, знал их имена и биографии, и любил рассуждать о собственных изобретениях, которые представит свету, когда будет готов (хоть и не вдавался в подробности о том, что это за изобретения). Излюбленным его занятием было просматривать сообщения о новых патентах; почти каждое сопровождалось раздосадованными возгласами о том, что его «опять опередили» – кто-то запатентовал изобретение, которое он как раз собирался представить в бюро патентов. Наши беседы за семейным столом сводились к монологам отца о последних научных открытиях, многие из которых не имели никакого отношения к его основному роду деятельности – например, он докладывал нам о новом методе вентиляции железнодорожных вагонов или производстве искусственной слоновой кости из каучука, аммония, хлороформа и известкового фосфата. Темы для своих лекций он нередко выбирал неаппетитные – я догадывалась об этом по виду матери, замиравшей с вилок на полпути ко рту и внезапно бледневшей, как труп; мне же с моим луженым желудком все было нипочем. Он мог, к примеру, поведать нам о новом виде опухолей в желудке лошадей, вызываемых паразитами, или об усовершенствованном средстве избавления от запаха каловых масс, или о способе расшевелить сонных пиявок и заставить их присосаться к пациенту (нужно вымочить их в пиве). Мы слушали его рассказы о методах окрашивания цветных перьев; прогрессе в науке родовспоможения в Германии и дизайне канделябров; консервировании крови со скотобоем в виде студня, изготавливаемого методом добавления негашеной извести; планах строительства межконтинентального тоннеля между Тарифой и Танжером; о новой фабрике, где бумагу собирались делать из кактусов; о новом методе выявления фальсифицированных документов, изготовленных с помощью фотокопирования; об эксперименте по взвешиванию лучей света, во время которого выяснилось, что луч солнца на земле весит три тысячи миллионов тонн, и «не будь гравитации, эта сила вытолкнула бы его обратно в космос» («Практическая наука»).

Отец совершенно свободно и, пожалуй, даже чересчур горячо рассуждал о любой теме, в которой ровным счетом ничего не смыслил. Порой он так распалялся, что вскакивал со стула и начинал расхаживать по комнате, сопровождая речь жестами, которым научился на курсах ораторского искусства (своим ораторским мастерством он гордился безмерно и часто напоминал нам, что еще в школе выиграл приз за декламацию «Танатопсиса» Уильяма Каллена Брайанта – а я всегда содрогалась, когда речь заходила о Брайанте, ибо за приятными воспоминаниями о выигрыше неизменно следовали причитания, что такой достойнейший оратор, как мой отец, породил столь невнятное существо, как я, заикающуюся имбецилку).

Услышав о новом техническом изобретении, каким бы сомнительным и непрактичным оно ни представлялось, отец тут же выписывал его, и ничто не могло ему помешать. Получив посылку с новым прибором, он бросал все дела, чтобы прочесть прилагаемое руководство по использованию, а при необходимости собрать прибор, опробовать и продемонстрировать в действии. Поскольку друзей у него не было, для этих целей он созывал свою секретаршу, бригадира и наиболее доверенного и ответственного рабочего фабрики; те, отбывая повинность, собирались в нашей гостиной и очень тихо и смущенно сидели на самых неудобных стульях, в то время как моя мать разливала чай, а отец топтался вокруг новинки, раздраженно дожидаясь, когда мать закончит. Было ясно, как божий день, что гости в нашем доме чувствуют себя неуютно и считают это мероприятие продолжением своих служебных обязанностей, но никак не приятным времяпровождением. Отец, однако, радовался, веселился, говорил неестественно громким голосом, намеренно употребляя просторечия, чтобы низкий люд, приглашенный им в гости, ощущал себя в своей тарелке (хотя сам низкий люд выражался неизменно чопорно и церемонно), а после вспоминал мероприятие как чрезвычайно приятное. Затем он тратил несколько дней на сочинение пространный письма производителем; в письме он делился своим мнением по поводу прибора и предлагал ряд улучшений, а нам рассказывал об этих письмах так, будто производители с нетерпением ждали каждого из них и были ему безмерно благодарны за прозорливые замечания. Он даже намекал, что в процессе создания купленных приборов ему отведена некая официальная роль, что он, фактически, *приложил руку* к их созданию. Когда я была маленькой, я принимала все это за чистую монету и считала отца очень важным человеком, но позже поняла, что это его бредни, и представила, как смеются производители над его письмами, которые он составлял с таким тщанием, или же просто выбрасывают их в мусор непрочитанными.

Я не помню всего, что он покупал, но некоторые вещи до сих пор хранятся у меня:

автоматический сигнальный буй;

арифмометр, или машина для арифметических подсчетов;

электромагнитный аппарат Белла;

карманный телеграф, или портативный передатчик Морзе;

электрическая щетка для волос Скотта;

электромагнитный прибор для шоковой терапии, работающий по методу Фарадея.

Отец нередко описывал наш мир как сферу безграничных возможностей – безграничных потому, что область применения практической науки, по его мнению, должна лишь расширяться. Это мировоззрение, безусловно, повлияло на меня: смерть, к примеру, не является для меня чертой, за которой все заканчивается. Но несмотря на то, что научный склад ума, идеи и приборы, привнесенные отцом в наш дом, оказали сильное влияние на мою последующую деятельность, я считаю его виновным во многих наших бедах. Хотя не было такого проекта, к которому он не потерял бы интерес через несколько месяцев в полном соответствии со своей натурой серийного энтузиаста, мое заикание постоянно напоминало ему о незавершенном эксперименте, подопытным кроликом в котором была я. На страницах научных

журналов он черпал информацию о новых пыточных инструментах для моего горемычного рта. Слоговая гимнастика М. Колобат, выполняемая под бой его ортофонической лиры (разновидности метронома); упражнения для губ, языка, дыхательные упражнения; сдавливающие язык пластины, расширяющие челюсть подушечки, обструктивные инструменты различных видов – камешки Демосфена, эволюционировавшие в настоящие орудия пыток, подобных золотой вилочке М. Итарда, которую следовало разместить в «выемке альвеолярной дуги нижней челюстной кости», то есть под языком; кожаные ошейники, застегивавшиеся на пряжку и туго сжимавшие мою гортань; металлические пластины, пристегивавшиеся к зубам и торчавшие изо рта; нечто вроде свистка, примыкавшего к нёбу, с вонзавшимся в язык острым наконечником. Стоит ли говорить, что ни одно из этих приспособлений не выполнило обещания «восстановить полезность пациента для общества путем обретения им способности изъясняться сладкозвучно и непрерывно».

За все усилия, предпринятые отцом по исправлению моего дефекта, я обязана была испытывать благодарность, а неудачи, согласно его замыслу, должны были вдохновлять меня упражняться упорнее. Поэтому матери не позволялось утешать меня, когда я плакала. «Вы уже достаточно навредили, мадам!» – выкрикивал отец, считавший мое заикание наследственным уродством по материнской линии. Он не переставал корить себя за «временное помутнение рассудка вследствие любовной лихорадки», приведшее к «ненаучному» и «противоречащему эволюции» союзу мужчины столь благородного происхождения с «аморальной имбецилкой» из «семьи торгашей и мелких жуликов». Он считал своим долгом исправить пагубное воздействие этого опрометчивого брака на свой социальный класс, и если в очередном номере ежемесячника не находилось нового метода, который можно было применить к моему дефекту, изобретал его самостоятельно, пуская в ход все свои нереализованные изобретательские амбиции и разрабатывая самые современные приборы, которые я должна была опробовать на себе. Он, несомненно, полагал, что прославится, придумав метод излечения от заикания, то есть решив задачу, которую прежде никому решить не удавалось.

Пожалуй, во всей Америке не было второго рта, подобного моему, который с равным усердием растягивали бы, резали, кололи, облепляли присосками и сдавливали скобами. В ход шло всё – консоли, клинья, лебедки, щипцы и целые подшивки «Американского естествоиспытателя» и «Популярной науки». Страницы этих изданий пестрели красочными гравюрами с детальным описанием механизмов; на этих рисунках величественные и прекрасные машины идеальных геометрических форм обслуживали не улыбкающие опрятные мужчины с симметричными руками и ногами. В отцовских (и моих) фантазиях именно так должен был выглядеть мой рот: современным техническим достижением, тщательно отрегулированным и эффективным; конвейером, работающим без сбоев и выдающим череду однотипных фраз из нержавеющей стали с медным дном в сопровождении подходящих случаю жестов.

Прикрепляя ко мне конструкции собственного изобретения – отец прикасался ко мне лишь в этом случае, и еще когда наказывал меня, – он был ласков, и порой я ошибочно принимала светящийся в его глазах оптимизм за любовь. Даже сейчас я часто спрашиваю себя, не любовь ли сквозила в тот момент в его взгляде, безмолвная и вечная, как монолит, невзирая на все его мной недовольство?

Ответ на этот вопрос, конечно же, «нет».

Но в те минуты, сидя смирно и позволяя ему навешивать на себя очередное пыточное орудие, я расслаблялась и ощущала уверенность, теплом разливавшуюся внутри. «Сиди прямо... черт тебя дер!» (Звук лопнувшей лески.) «Открой рот, шире, нет, не так широко; стисни зубы, расслабься, втяни губы, нет, не так, вот так, да нет же, глупая девчонка, вот так!». Я беспрекословно, почти радостно подчинялась; я тоже надеялась на лучшее. На этот раз все получится. Мы оба так хотели этого, что силой нашего общего желания у нас должно было

получиться. Я физически ощущала, как связная речь давит на корень языка, готовая вырваться наружу.

Но этого так и не произошло. Отцовские приспособления то и дело давали сбой: то пружинная растяжка для щек слетала с предохранителя и выстреливала у меня изо рта, рикошетом отлетая от стен столовой. То гуттаперчевый пузырь на вдохе застрял у меня в глотке, и я едва не задохнулась. В другой раз я случайно проглотила маленькую гирику, которую под суровым присмотром отца должна была перекачивать на языке, и в течение нескольких дней я приносила ему ночной горшок со своими экскрементами и присутствовала при раскопках, которые он производил тонкими металлическими спицами. (Гирику так и не обнаружили; полагаю, она до сих пор покоится где-то у меня в слепой кишке и медленно отравляет меня изнутри, так как сделана из свинца.) Во всех осечках отец, само собой, винил меня. Вероятно, проблески разума иногда все же посещали его, ибо самые кошмарные приспособления он не стал опробовать повторно. Но все равно наказывал меня за «лень, упрямство и рецидивизм», сопровождая каждое обвинение ударом линейки.

А потом бросал взгляд на белые края отметин на моей ладони, и лицо его искажала гримаса. «Вся жизнь коту под хвост. Я ничтожество», – говорил он.

Из уст самого богатого гражданина Чизхилла слышать такое было более чем странно, но я понимала, о чем речь. «Папа, не плачь, – ласково успокаивала я. – Когда-нибудь твои изобретения сработают».

Он снова заносил линейку.

Порой я разглядывала себя в мутном зеркале над туалетным столиком матери и дивилась своей невзрачности. Мне казалось, что рот мой, если это вообще возможно, больше головы, и столь же упорно противится социализации, как если бы на его месте был кракен, которого пристегнули к моему лицу и заставляли говорить.

Тогда я еще не понимала, что отчасти горжусь своим чудовищным дефектом. Долгое время я старательно пыталась овладеть своей неуправляемой речью и в моменты, когда меня охватывала сентиментальность, фантазировала о том, какой идеальной станет жизнь нашей семьи, как только я избавлюсь от моего маленького недостатка. По вечерам мы будем сидеть в гостиной, я стану читать родителям вслух, превосходно выговаривая слова и сопровождая речь красноречивыми жестами; их лица, озаренные пламенем свечи и гордостью, будут светиться. Но с каждым новым провалом очередной попытки исправить меня я понимала, что это невозможно, и убеждалась в том, что наказывая меня за то, что я не могу контролировать, отец проявляет жестокость. А жестокому отцу в моих фантазиях не было места. Даже к матери он давно уже перестал относиться с нежностью, так что пламя моих грез постепенно стало затухать, а потом и вовсе угасло.

Я часто околачивалась у кабинета, где отец экспериментировал со своими приборами. Я надеялась, что что-нибудь пойдет не так, и однажды мое ожидание было вознаграждено. В тот день отцу доставили вышеупомянутый электромагнитный прибор для шоковой терапии, работающий по методу Фарадея; аппарат сулил «оздоровление всего организма, восстановление баланса и гармонии расстроенной нервной системы и насыщение тела жизненными силами». Через щелочку в двери я наблюдала, как отец решительно расстегнул пуговицы на воротнике и манжетах, снял рубашку, аккуратно сложил ее и убрал в сторону; затем проделал то же самое с нижней сорочкой. Грудь у него была полная, женская, а между грудей виднелся клочок черной шерсти, напоминавшей медвежью. Я, кажется, никогда еще не видела его обнаженным до пояса. Он взял один из проводков и после секундного колебания прикрепил к соску с помощью прилагающегося зажима. Второй проводок он прикрепил к другому соску. Тогда меня ничего не смутило, но сейчас я понимаю, что он выбрал для прикрепления проводов довольно странное место и, возможно, руководствовался при этом соображениями не совсем научного и медицинского характера. Мне доводилось слышать о людях, которые испытывают эротиче-

ское удовольствие от боли, причиняя ее себе и другим, но я не слишком осведомлена о подобных проявлениях человеческой сексуальности – более того, я довольно смутно представляю, как это происходит обычным способом, так что давайте оставим рассуждения о странных действиях моего отца тем, кто разбирается в этих вопросах.

Я чуть шире приоткрыла дверь и бесшумно проскользнула в комнату. Отец тем временем взял брошюру, прилагавшуюся к аппарату, и продолжил изучать ее, держа двумя руками. Затем медленно протянул руку и включил аппарат. Его лицо исказила странная гримаса, он задержался, уронил брошюру и стал бить по проводам, но те не отцеплялись; наконец он схватил один провод и с силой выдернул его из аппарата; тот взорвался снопом кобальтовых искр и заглох. Отец склонился, захлебнувшись от рыданий без слез, затем аккуратно отцепил зажим, вцепившийся в его сосок железными челюстями. Другой провод по-прежнему соединял его с заглохшим аппаратом. Внезапно он увидел, что я наблюдаю за ним. Он уставился на меня, зажав в руке болтающийся провод, а затем хлестнул им меня.

Несколько вещей затем случились одновременно. Я отпрыгнула в сторону и ударилась поясницей об угол комода. Не попав в меня, провод отскочил, зацепился кончиком об отцовскую ноздрю и хлестнул его по губам, оставив четкий ровный след от ноздри до подбородка. От неожиданности отец дернулся и оторвал провод, по-прежнему крепившийся к соску; он выругался и схватился за сосок обеими ладонями; первый же провод отскочил еще раз и снова хлестнул его, на этот раз по лбу и уже не так сильно. Я стояла, опираясь о комод, в удобном отдалении, и заставила себя смеяться, хотя бок очень болел от удара. У отца текла кровь из соска и губы, бледный живот трясся от прерывистого дыхания.

– Чудовище! Ведьмино отродье!

– Я не виновата, отец, – отвечала я. – Может, аппарат настроен неправильно? Не желаешь ли попробовать еще раз?

– Ты бы этого хотела, верно? – Он бросился ко мне, схватил за ухо и стал выкручивать, притягивая меня к себе, пока я не закричала от боли. – Отпущу тебя, когда скажешь: «Купили каракатице кружевное платьице!» – Он прижал меня лицом к своему потному боку; от него дурно пахло.

Я не могла этого выговорить, ему ли было этого не знать.

Теперь, когда я была в его власти, он весь точно раздулся и стал больше; живот его расширился, а струйка крови, стекавшая вниз, остановилась, будто передумала, насторожившись.

– Ты, наверное, хочешь меня проклясть? Но слова в горло не лезут? – Он громко расхохотался, наслаждаясь моим стыдом и почти позабыв о гневе.

На этом месте мы, пожалуй, опустим занавес и не станем продолжать описание этой жалкой сцены – ничего хорошего из этого не выйдет. Скажу лишь, что всякий раз, когда я становилась свидетельницей отцовского несчастья, для меня это оборачивалось несчастьем куда большим.

Ребенок, которого постоянно наказывают, неизбежно будет чувствовать себя виноватым, и я считала себя очень злой. Иногда мне бывало стыдно, но вскоре я уверилась в своей безнадежности и в том, что меня ждет жизнь греха и быть мне заикой вечно. Отец всегда наказывал меня более жестоко, чем, как мне казалось, я того заслуживала, и я считала это расплатой за еще несовершенные преступления, некий аванс, и впоследствии чувствовала себя обязанной эти преступления совершить. К примеру, я следила за родителями через трещину в потолке их спальни, предварительно расширив ее пилкой для ногтей; слежка эта была довольно скучным занятием, но меня приободряла уверенность, что отец пришел бы в ярость, узнай он о том, что я знаю то, чего знать не должна. В другой раз я спрятала приобретенный отцом за баснословную сумму комок амбры в глубь выдвижного ящика на кухне, и он пролежал там много лет, наполняя кухню таинственным ароматом. Я могла поменять местами проводки на новом приборе. Таким образом я отрабатывала свой аванс. Порой, совершив что-нибудь особо пре-

ступное, я испытывала угрызения совести, чувствуя, что перегнула палку, и нарочно провоцировала отца наказать меня (в тех редких случаях, когда у него самого не находилось причин это сделать). При этом я испытывала такое чувство собственного превосходства и контроля над ним, что готова была терпеть любую боль. Эта система работала до тех пор, пока я по глупости не показала ему, что стала равнодушна к боли, которую он мне причиняет. Тогда он стал искать другие способы наказывать меня и нашел их.

Мои первые кролики принадлежали не мне, а отцу, и предназначались в пищу. Когда он убивал их, я горевала, но не сильно, ведь с нашей первой встречи понимала, что им предстоит стать рагу, и осознавала уготованную им судьбу. Но перед смертью эти кролики умудрились расплодиться, и я уговорила отца отдать новое поколение мне на воспитание. К тому времени его интерес к кролиководству угас, и он согласился.

Тот, кому нет дела ни до чего и ни до кого, даже до себя, становится неуязвимым. Так думала я и вела себя соответственно. Своих любимчиков я прятала, но когда их находили и отдавали нашему слуге Люциусу, который убивал и свеживал их, я заставляла себя на это смотреть, превратив это в своего рода мрачную игру. Таким образом я учила себя толстокожести и думала, что меня уже ничто не ранит. Но потом появился Зайцелот и стал оружием, которое я сама вложила в руки отца. Толстый, пушистый, ленивый и вислоухий, он не выглядел как оружие, но я его любила, хоть виду и не подавала.

После одной своей мелкой шалости я убедилась в том, что не сумела стать неуязвимой. У отца была коллекция антикварных десертных ложек – одно из немногих увлечений, доведенное им до конца; экземпляры в коллекции были разложены согласно году выпуска, а я незаметно меняла ложки местами. Я была невысокого мнения о наблюдательности отца и думала, что он никогда не заметит. Эта шутка предназначалась мне одной, я представляла, как он достанет футляр, начнет полировать ложки, затем станет класть каждую на свое место, напыжившись от удовольствия, и только я буду знать, что что-то не так, и это станет для меня источником удовольствия особого рода. Но мой саботаж был раскрыт, отец уличил меня. Осознавая тяжесть своего проступка, я начала заикаться так жестоко, что не смогла ответить ему, а это обстоятельство всегда приводило его в бешенство. Он выбежал из дома и бросился в сарай, где стояли кроличьи клетки; взял с полки нож (я повисла у него на рукаве и нечленораздельно выла на одной ноте, ибо от расстройства не могла выговорить ни слова), открыл клетку и достал Зайцелота, безвольно повисшего в его руке, как мягкая и уютная старая шляпа.

– П-п-п...

Он поднял брови, с притворным вниманием склонил набок голову, и я воочию увидела, как чернеет его гнев, превращаясь в чистую злобу.

– Ах, прости, детоцка – детоцка хотела сто-то сказать? – Он мерзко шепелявил и сюсюкал, издеваясь надо мной.

В моем горле набух ком, распирая его изнутри, вынуждая мои голосовые связки заработать, но лишь легкое дыхание слетело с губ, а связки сомкнулись с отчетливым щелчком. Дернулся мускул у рта, губы сложились в безмолвное «нет», но выговорить его я так и не смогла.

Даже сейчас, когда я об этом вспоминаю, внутри меня все ревет, подобно пламени в раскаленной печи; этого не было, не было, нет-нет-нет-нет-нет-нет, твержу я горящие праведным гневом слова. Снова и снова Зайцелот выскакивает из печи заново выплавленный, новенький, целенький, блестящий. Но потом я вижу, что это всего лишь дешевая металлическая болванка, и она плавится. И я догадываюсь, что никакие мои слова не остановили бы отца, не заставили бы его не совершать того, что произошло потом, но этого я не узнаю никогда. Среброязыкий Демосфен снова не материализовался во мне; я стояла, цепляясь за отцовский рукав, и давилась своим убийственным безмолвием.

Отец смотрел на меня с презрительной усмешкой.

– Хочешь возразить? Нет? Тебе нечего сказать? Как знаешь! – Он подвесил Зайцелота вверх ногами и воткнул нож ему в рот. – Нужно перерезать нёбные вены, чтобы обескровить тушку, – пояснил он нейтрально, голосом, почти неразличимым на фоне ужасающих криков, как будто обращался не ко мне, а к своей совести. Он обвинил проволокой лапы сопротивляющегося кролика; одна вырвалась и угодила отцу в нос, и я очень надеялась, что Зайцелоту удалось его сломать; изрыгая проклятья, он подвесил кролика к потолочной балке, а я тем временем изо всех сил била его ногами по щиколоткам. Зайцелот дергался, крутился, орал, а струи его крови забрызгивали нас с отцом, смешиваясь с кровью, фонтаном лившейся из отцовского носа.

Речь – страшный, холодный инструмент. Вспоминая то или иное событие, я так спокойно подбираю слова, наиболее подходящие случаю, а ведь не будь этих чернил на бумаге, думать о случившемся было бы невыносимо. Рассказ о произошедшем всегда является в той или иной степени подделкой, но мы принимаем ее и благодарны за нее, ибо она частично снимает с души груз случившегося.

Отец оттолкнул меня и, вытерев пальцем свой вздернутый нос, из которого хлестала кровь цвета спелой черешни, вышел вон из сарая. Я в панике принялась подпрыгивать вверх, пытаясь достать до потолочной балки, но росту мне не хватало. Потратив бесценные несколько секунд на эти бесполезные действия, я затем догадалась поставить клетки одну на другую, и, хотя одна из них проломилась под моим весом к неудовольствию сидевшей в ней Гундред, графини Пушляндии, я все-таки дотянулась до балки и, захлебываясь рыданиями, размотала проволоку, которой был обвязан Зайцелот, даже не чувствуя, что его когти царапают мне щеки. Но когда я спустила его вниз и положила на копну соломы, где, вероятно, в поисках спрятанной моркови, шныряла сбежавшая и не проявившая никакого участия к судьбе Зайцелота Гундред (я тут же прониклась к ней антипатией), любимец мой безвольно завалился на бочок, слегка подергался, откинул окровавленную мордочку и испустил дух.

– Нет-нет, прошу, не уходи... Не покидай меня, – пыталась выговорить я, но в моем эмоциональном состоянии получалось не очень. Кажется, никогда еще я не заикалась так сильно.

Тогда-то я и сделала первое из своих великих открытий, которым, выходит, обязана жестокости отца. Вы наверняка читали об этом в литературе, посвященной истории Специальной школы. В результате своего заикания я вернула Зайцелота к жизни. Но увы, не к беззаботной жизни здорового кролика, а к тому самому моменту накануне его кончины, когда он лежал, умирая от боли, страха и непонимания, вероятно, проникшись ко мне недоверием, ведь именно я внушила ему ложную уверенность в том, что его жизни ничего не угрожает. Так он лежал несколько часов, умирая снова и снова, а потом мне стало отчаянно стыдно за свою жестокость, я закрыла рот и дала ему умереть. Опять. Теперь уже насовсем.

Гундред в какой-то момент запоздало испугалась и сбежала. Полагаю, именно ей мы обязаны поголовьем слабоумных кроликов, по сей день населяющих Чизхилл и регулярно бросающихся под колеса проезжающих автомобилей.

Оставив кучку меха, некогда бывшую Зайцелотом, и смирившись наконец с тем, что отныне всегда буду говорить о нем в прошедшем времени, я медленно двинулась к дому, сжимая и разжимая кулаки, покрытые липкой коркой запекшейся крови. Отец в халате отдыхал на диване; щеки его заливал здоровый румянец, вокруг ноздрей чернели кровавые ободки. Он листал брошюру и бубнил себе под нос: «Расстройство всего организма... иннервация... диспепсия... говяжий бульон?». Не отрываясь от чтения, он тем же тоном спросил:

– Где ты была?

Голос мой никак не мог вернуться из того места, где побывал.

– Ш-ш-ш...

Отец опустил ноги на пол и хлопнул брошюрой по диванной подушке; подушка подпрыгнула.

– Проклятье, – неспешно проговорил он, – когда же ты научишься нормально говорить?

Я туло уставилася на него, сжимаю и разжимаю кулаки.

– Ты – мое порождение, – вымолвил он звучно, протяжно, смакуя каждое слово, и я поняла, что он вновь возомнил себя великим оратором и сейчас произнесет очередной монолог. – Моя наследственность видна в тебе, хоть и искажена и ослаблена вредоносным влиянием по материнской линии. И я не допущу, чтобы эта малая часть меня, что живет в тебе, явилась миру, не владея правильной речью и... – он откинулся на диван, только что заметив, что мое платье все в кроличьей крови и шерсти, – ...в столь неподобающем виде! – Он говорил изумленно, словно не веря своим глазам. – Помилуй, ведь ты – мое искаженное отражение! Ты несешь в себе мой отпечаток, пусть его и еле видно за твоей испорченностью. Вина за это лежит на мне, я признаю ее, но никогда не смирюсь с тем, что мое дитя, обладая даже малой толикой моей одаренности, не выше и других детей, и не превосходит отпрысков людей гораздо менее достойных, чем я. И ты унаследуешь эту одаренность, пусть даже и в меньшей степени. Подойди. – Он гротескно улыбнулся и похлопал по диванной подушке. – Скажи-ка: «Я научусь контролировать свою речь и заставлю себя успокоиться».

Я сделала несколько шагов к нему и попыталась вытолкнуть хоть немного воздуха через сомкнутые губы, но старания мои увенчались лишь скрежетом, подобным звуку не желающего заводиться мотора.

Лицо отца исказила гримаса, видимо, призванная изображать доброту, но я больше не верила, что он способен на добрые чувства. Он же, видимо, вовсе забыл причину моей обиды, а может, никогда не понимал, как много значили для меня мои кролики.

– Попробуй еще раз. «Я научусь контролировать свою речь...»

– Грр-грр-грр.

Раздражение, которое он так старательно подавлял с момента моего появления в комнате, наконец дало о себе знать.

– Ты нарочно упрямисься? На дворе девятнадцатый век, будь ты неладна! – Он наклонился вперед и сложил руки «горизонтально-наклонно», как на рисунке 28 из «Практического учебника ораторского искусства». – Неужели в век, когда промышленность и прикладные науки поворачивают вспять могучие реки и приручают энергию молний, язык одной маленькой девочки неподвластен контролю и будет делать, что ему вздумается, неуправляемый, подобный дикой кошке? Этому не бывать! Мы научились выжимать лимоны, пока в них не останется ни капли сока, и не сомневайся, Сибилла Джойнс, – он сжал мое плечо, как тисками, позабыв об ораторском достоинстве, – я выжму все соки и из тебя!

Я отвернулась. Уперлась рукой в бок. Потом попыталась убрать руку и поняла, что она прилипла к платью.

Какой реальной я была тогда, и плотной, как окорок. Не то что сейчас, когда от меня остался лишь воздух; мне противно вспоминать себя такой полнотелой. Теперь от меня остался лишь корсет, продуваемый шепчущими ветрами, а потусторонний мир реальнее вашего, настоящего.

У моего отца имелась педагогическая теория (его собственная, насколько я могу судить) касательно того, как должен развиваться ребенок, начиная с того возраста, когда тот еще в подгузниках, и вплоть до освоения им высшей математики. Согласно этой теории каждый последующий навык строился на фундаменте предыдущего, и у каждого был порядковый номер; хотя иногда отец менял их местами – перемещал изучение противовесов со сто шестьдесят четвертого места на сто пятьдесят восьмое, а оторочку шляп тесьмой – со сто семьдесят четвертого на сто девяносто третье – устная речь неизменно предшествовала письменной (тринадцатая и тридцать седьмая ступени), а я, как известно, заикалась. То есть застряла на первом же лестничном пролете.

Так и вышло, что однажды днем, пока отец был на фабрике, я пробралась в его кабинет, ощущая себя Евой, крадущейся к древу познания (в отцовской педагогической системе

та тоже не продвинулась бы дальше десятой-одиннадцатой ступени). Я взяла книгу с нижней полки, отползла в уголок, где между занавеской и стеной в комнату просачивался теплый солнечный лучик, внутри которого плясали пылинки, и села так, чтобы узкая наклонная полоска света падала на меня и на обложку книги, украшенную рельефным узором из дубовых листьев и желудей. Томик соскользнул и повернулся ко мне обрезом, гладким и позолоченным, и я погладила золотистую дорожку между двумя переплетными крышками, сознательно оттягивая момент, когда открою книгу. Книги внушали мне страх, ведь именно из них отец черпал свои многочисленные идеи, нарушавшие покой в нашем доме, но все же я твердо решила сама познакомиться с ними. Мне казалось, что если я прочитаю достаточно книг, пункт тринадцатый в отцовском списке можно будет проскочить или оставить на более благоприятное время. Наконец я раскрыла книгу – страницы с готовностью распахнулись – и уставилась на византийский орнамент, поджидая, когда тот превратится в слова.

Меня пугали диковинные штуки, называемые буквами. Я никак не могла взять в толк, как это возможно, чтобы речь с ее оханьем и уханьем состояла из этих кружочков и закорючек. Я даже могла бы решить, что стала жертвой изощренного розыгрыша, но отцу, совершенно лишенному чувства юмора, такое никогда не пришло бы в голову. Вдобавок, его совершенно не интересовало, заблуждаюсь ли я в том или ином вопросе. Черточки и засечки на буквах напоминали лапки насекомых; напечатанные слова, глянцевые, но сухие, тоже чем-то смахивали на хитиновый панцирь, а закругленные края букв – на гигантские круглые глаза, внимательно наблюдавшие за мной. Как мухи, слова казались обманчиво неподвижными, однако готовыми взлететь в любой момент, а закрыв книгу, я слышала изнутри тот же звук, который обычно издает муха, бьющаяся об оконное стекло в соседней комнате – тихое, печальное, монотонное и тревожное жужжание. Другие, более массивные книги в застекленном шкафу издавали глухое клацанье, точно под их корешками, задевая друг друга клешнями, ползали по дну моря ракообразные. Если речь на самом деле состоит из таких колючих предметов, подумала я, неудивительно, что буквы застревают у меня в горле, цепляясь друг за друга. Смотреть на них, выстроившихся на странице в таком порядке и спокойствии – вот что было удивительно. Их ровные шеренги напоминали рады надгробий. Быть может, читатель внимает призракам букв, безмолвным и газообразным? В таком случае читатель, вдыхающий души мертвых букв, становится не кем иным, как Богом.

Вы видите, в каком замешательстве я пребывала, и не только в том, что касалась вопросов теологии. Я мыслила образами, которые хаотично роились в моей голове. Я даже не понимала, является ли печатное слово живым или мертвым. Сейчас я признаю, что оно может быть и тем и другим, как и призраки, и мне трудно понять тогдашнее смятение, но я хорошо его помню. Столь же отчетливо я помню, как занавески касались моей щеки, как дерзко поблескивали волоски на моих обнаженных щиколотках (оголять ноги в нашем доме строго запрещалось); помню темную комнату с тяжелыми стульями, письменными столами и секретерами, чернильницами, гроссбухами и пресс-папье, гальванометрами и центрифугами, мотками медной проволоки, лабораторными сосудами и мензурками, вежливо отвернувшимися от меня и смотревшими в другую сторону; освещенную книжную страницу, яркое пятно, распространявшее вокруг себя сияние; и как я сдвигалась чуть вбок, сидя на пятках и не отрывая глаз от страницы, когда холодильник с одной стороны сообщал мне о том, что солнце ушло. Время текло медленно, как сироп. В отсутствие отца время всегда замедлялось. Оно замедлялось в отсутствие всех, кроме далеких, незнакомых мне авторов, чей замысел насыщал загадочные знаки на странице. Знаки, которые оставляли на моей сетчатке зелено-фиолетовый отпечаток, словно след от нити накаливания.

Я не помню, как научилась читать; помню только, что жужжание насекомых и клацанье клешней постепенно перекрыли человеческие голоса. Я говорю «перекрыли», но это было больше похоже на спуск – я спустилась откуда-то сверху, постепенно погружаясь в пучину слов,

которые уже не казались твердыми и непреодолимыми, как кованый железный забор, хитиновые панцири мух или ракообразных; они стали пористой тканью с множеством отверстий. Спустившись в этот мир, я повисла на его границе, пока еще неустойчиво, и начала жадно вглядываться в происходящее внизу.

С каждым днем я погружалась глубже. Книги, которые я еще не прочитала, ревниво гудели на полках; гудение перерастало в рев, бряцали ручки застекленных шкафов-витрин, но я не обращала внимания, заставляя себя опускаться все ниже к месту, которое казалось мне домом гораздо больше, чем дом, в котором я жила. Заставляя себя преодолевать на этом пути тривиальные, но никак неподдающиеся мне препятствия вроде ограничений, продиктованных моей физиологией. Порой я выходила из отцовского кабинета с песком далеких берегов под ногтями или застрявшим в волосах шершавым голубым листком невиданного дерева. Украдкой заглянув в мутное глубоководье старого зеркала в коридоре, я видела в своих зрачках странные отражения: степенные воздухоплавательные аппараты с плетеными корзинами с командой заводных механических осьминогов; крыша церкви вместо тростника была устлана перьями; длинная извилистая цепочка оборванцев с ввалившимися щеками тащила из темных глубин каменоломни тележки, нагруженные фонографами, утонувшими в иле.

Конец этой идиллии положили моя слабость и жадность. В детстве я все время была голодной. Меня не морили голодом намеренно – это не входило в число жестокостей, практиковавшихся моим отцом, – но в доме, где все подчинялось строгому распорядку, раздобыть даже кусок хлеба, прежде чем часы в отцовском кабинете не пробьют время обеда или ужина, было невозможно. Однако желудок мой жил не по часам, и от голода я сходила с ума. Иногда я отваживалась чуть-чуть перевести часы вперед. Иногда за обедом прятала в переднике бисквит или кусочек сыра, чтобы погрызть их во время чтения, но сила воли неизменно подводила меня, и я съедала их почти сразу после основной трапезы, и вскоре снова начинала изнывать от голода. Бывало, я жевала ленточку от шляпы, и это ненадолго приносило облегчение, но я делала это на свой страх и риск, ведь если бы отец увидел, что концы тесемок намокли и обтрепались, наказания было бы не избежать.

И вот, пока часы тикали, косая полоска солнечного света перемещалась по полу, левая половина раскрытой книги, лежавшей на коленях, становилась тяжелее, а правая – легче, а моя душа приоткрывала дверцу в другой мир, удерживаемая в этом мире лишь постыдными желудочными спазмами, я взяла в привычку есть книги.

Разумеется, «есть» – это преувеличение. Я не ела их целиком, а отрывала уголки страниц, рассасывала и жевала бумагу, пока та не растворялась у меня во рту, а потом глотала. Но это было похоже на еду и успокаивало голодный желудок, поэтому я стала прибегать к этому методу все чаще и чаще и даже стащила из кабинета одну особенно вкусную книгу и спрятала ее в сарае, чтобы было чем порадовать себя, когда меня в очередной раз там запрут. Я прогрызала сквозь отцовский шкаф, откусывая целые куски от его библиотеки (наверное, я и по сей день в какой-то мере состою из этих книг), и научилась различать книги на вкус. К примеру, я обнаружила, что грубая желтая бумага дешевых изданий и журналов мне совсем не нравится: во рту она быстро превращалась в бумажную кашу, клейкую и зернистую. Некоторые книги с иллюстрациями были напечатаны на плотной белой глянцевой бумаге, покрытой слоем каолина – она противно скрипела на зубах и впивалась в десны, оставляя порезы. Самая вкусная бумага при разжевывании превращалась в плотный комок, который долго не рассасывался и был похож на хлеб.

Надеюсь, вы простите мне следующее небольшое отступление, вызванное моей педантичностью. Компulsive расстройство, при котором пациент употребляет в пищу бумагу, носит то же название, что и единица измерения шрифтов – *пика* (с ударением на последний слог; от лат. *pica*, сорока); механизм у заболевания тот же, что заставляет людей употреблять в пищу другие малосъедобные вещи – землю, мел, лед; оно относится к расстройствам пищевого

поведения. То, что слово *ника* одновременно означает болезнь и размер шрифта, весьма показательно в моем случае, так как отражает ненормальность моих отношений с печатным словом. Моя любовь к книгам была не духовной, а плотской. И хотя я тогда об этом не догадывалась, своим поведением я тренировалась контактировать с мертвыми, для которых печатное слово всегда было самым надежным методом передачи информации.

Но некоторые психиатры, вероятно, предположили бы, что таким образом я воплощала свое подспудное желание укунить отца.

Как бы то ни было, настал час, который я предвидела. Когда из отцовского кабинета раздался рев, я отложила вышивку (вышивала я для отвода глаз, никогда не продвигалась дальше одного-двух крестиков), встала, вышла через дверь черного хода, отодвинула отставшую гниющую деревянную решетку (снова крестики) и заползла под заднее крыльцо, в пространство под домом с грязным земляным полом. Ступени над головой скрипели под поступью великанов. Похолодало и стемнело. Колокольчик возвестил о начале ужина. Мой желудок послушно заурчал. Я осознала всю бессмысленность своего положения: отец даже не искал меня. Он знал, что рано или поздно я приду.

Я вышла и была побита; меня отругали и заперли в сарае. С тех пор отцовский кабинет всегда оставался заперт. Ключ он носил на шее на шнурке. Лишь через много лет мне пришлось в голову, что можно записаться в Чизхиллскую публичную библиотеку – так крепко сидела в моей голове вбитая отцом мысль о том, что нельзя ближе чем на шаг подходить к людям с более низким социальным статусом. Итак, в моем распоряжении осталась только одна книга, та, что я спрятала в сарае: погрызенный экземпляр «Моби Дика». Не так уж плохо, на самом деле.

Полагаю, отец решил, что я сгрызла его библиотеку, движимая злобой: едва ли ему могло прийти в голову, что я сама, без посторонней помощи, научилась читать. Впрочем, мой случай действительно не вписывался ни в какие рамки.

После того как отец отрезал мне доступ в свой кабинет, я перешла от чтения к письму. Я и прежде упражнялась в письменной речи: стоило мне выучить буквы, как я принялась складывать из них страшные проклятия и царапать их на камнях и заборах вокруг нашей территории, рассчитывая напугать суеверных соседских детей. Затем я утащила домашний бухгалтерский гроссбух и стала оттачивать свои таланты в нем, сочиняя убогие рассказы о похищении юных дев злоумышленниками. Юные девы в них бросали вызов своим похитителям, осыпая тех жуткой бранью; цветистые ругательства составляли большую часть повествования. Из этих примеров становится ясно, что письменная речь выполняла в моей жизни роль протеза; на письме мне не было равных в красноречии, оно же помогало реализовать мои детские фантазии о всевластии, которого из-за своего дефекта я была лишена.

Но постепенно мои записи превратились в нечто большее, а бухгалтерский гроссбух, исписанный едва ли на четверть, стал моим утешением и отрадой. Я надежно спрятала его в сарае и изливала на его страницы мысли, которые не могла облечь в слова – как незначительные, так и важные. Я писала о своих домашних обязанностях и о своих кроликах, записывала фрагменты рассказов; писала, чтобы потом перечитать написанное. Вместе с тем, моя письменная речь совсем не напоминала речь маленькой девочки. Мой лексикон был громоздким, синтаксис – многоярусным. Я изъяснялась языком, бывшем в обиходе за много десятилетий и веков до моего рождения. Это был книжный язык, фразы, вычитанные мной когда-то в отцовских фолиантах, которые я воспроизводила почти без изменений. Хотя я описывала ими будничные тревоги и участников своей маленькой жизни, они принадлежали не мне. На них стояла печать иного изготовителя, но какого именно, для меня оставалось загадкой. Они принадлежали другим людям и другим временам. В своих сочинениях я не обращалась к будущим читателям, не мечтала о славе. Я взывала к миру книг, обожаемому мной и утраченному. Жужжание мух, доносившееся из шкафов в отцовской библиотеке, стало громче и отчетливее прежнего, но теперь этот гул поднимался со страниц исписанного мной гроссбуха, полностью

заглушая мой собственный голос, звучавший еле слышно. Другой мир, куда я так жаждала попасть, теперь существовал внутри меня. Чтобы очутиться в нем, мне всего лишь надо было вывернуться наизнанку.

Но этому я научилась не сразу. Понадобилось несколько лет. Я стала изъясняться свободно, но только на бумаге.

В то время мне казалось невозможным повторить вслух то, что так легко изливалось на страницы. Обычные дети, полагаю, начинают произносить отдельные слова, затем связывать их в предложения, а предложения – в рассказы, и лишь потом не без труда научаются укладывать свои мысли, этот летучий, легко испаряющийся материал, в некий связный и складный письменный отчет. Для них это сродни умению сложить парашют. У меня же все вышло ровно наоборот. Парашют достался мне уже сложенным, и понадобилось много лет, чтобы расправить его и подставить ветру.

Но до чего же изысканны были эти складки! Постепенно недовольство отсутствием голоса – отсутствием «я» – уступило изумлению и восторгу. Ведь что такое «я»? Куриная косточка, застрявшая в горле. На письме я могла стать кем угодно. Слова не застревали в горле, так как горло в процессе письма не участвовало; я не ощущала никакой скованности, а чувствовала лишь безграничность возможностей, смысловых оттенков, ясности, разреженности, света, пространства и свободы; одним словом, безграничную *радость*.

Я с упоением изобретала себе фальшивое «я». Писала о себе в третьем лице, описывая свою жизнь как житие святой; рассказывала о жизни, которой не жила на самом деле, но та казалась более реальной, чем моя. Вскоре я исписала весь grossбух и в поисках бумаги в ящике материнского стола наткнулась на маленький конверт с негашеными марками. Вдохновившись находкой, я начала писать непристойные письма редактору нашей местной газеты сперва от имени вымышленных персонажей, а затем – и реальных людей ², заслуживших мою неприязнь по тем или иным причинам. Это вызвало в Чизхилле небольшой переполох. Впрочем, он вскоре утих. Меня, само собой, никто не заподозрил: ведь по официальной версии я не умела ни читать, ни писать. Кроме того, я изъяснялась так, что представить, будто эти письма написаны ребенком, было невозможно. Подозрение скорее пало бы на человека преклонных лет, использовавшего звучные архаизмы минувшего века.

Однажды я раздобыла писчей бумаги и с чрезвычайным тщанием сочинила письмо следующего или весьма похожего содержания:

Харвуду Джойнсу, эсквайру

Многоуважаемый сэр,

Пишу выразить превеликую благодарность за ваш отзыв об использовании нашего прибора, гальвано-магнетического-как-бишь-его. Вы выявили у данного прибора недостатки, которые не заметила даже группа специально обученных гальванистов, работающая под моим началом, и предложенные вами рекомендации по их исправлению демонстрируют вашу высочайшую техническую подкованность. Ваш талант прозябает в этом вашем – как его – Чизхилле? Этим письмом я хотел бы пригласить вас на свою фабрику, чтобы вы обучили моих рабочих своим методам. Окажете ли вы мне такую услугу, Харвуд? Я называю вас по имени, так как уже вижу вас своим другом. Великие умы должны держаться вместе. Не сомневаюсь, в будущем нас ждет плодотворное сотрудничество. Я готов взять на себя все транс-

² Именно тот факт, что в детстве директриса Джойнс писала сочинения, от и до придумывая себе вымышленную личность, вызвал сомнения в авторстве этого текста. Однако углубившись в рассуждения на эту тему, мы сталкиваемся с неразрешимым парадоксом: ведь если автор текста – директриса, следовательно, она лгунья, и следовательно, директрисой может и не являться; в то же время, если автор – не директриса, нет причин считать ее лгуньей, следовательно, она – директриса. (Разумеется, можно также предположить, что провозглашая себя лгуньей, директриса лжет, но в таком случае мы вовсе увязнем по уши.) – *Ред.*

портные расходы и компенсировать их, когда вы прибудете на место, так что не колеблясь приезжайте, как только сможете; нет нужды сообщать о своем приезде заранее. Лишние церемонии нам ни к чему.

С глубочайшим уважением и признательностью,

Ваш брат в научных изысканиях

Сэмюэль Б. Алдердаш

Владелец фабрики по производству гальвано-магнетических штуковин

Я сложила письмо, вложила его в конверт, запечатала и наклеила гашеную марку, предварительно отклеенную под паром с другого письма, которое я достала из мусорного бака. Чтобы скрыть несовершенство подделки – мне пришлось аккуратно подделать пунктир на марке подрисованными чернильными пятнышками, – я смяла, запачкала и надорвала уголок письма, как будто его повредили при перевозке. Затем подсунула конверт под стопку свежей почты, поджидавшей отца на столике в коридоре; всего через пару минут он забрал всю охапку и удалился в свой кабинет.

Сердце неприятно трепыхнулось, забившись быстрее напольных часов.

Вскоре отец вышел из кабинета и встал посреди коридора, глядя мимо меня. Его руки были опущены, глаза расширились и увлажнились, розовые карманцы нижних век вывернулись наружу. Я поняла, что никогда прежде не видела его счастливым; смотреть на это было невыносимо, но зная, что его ждет впереди, я успокоилась.

Обменявшись парой слов с матерью, он закрылся в кабинете. Мать молча собрала его саквояж. Колокольчик прозвонил к ужину, и отец попросил, чтобы еду принесли ему в кабинет на подносе. Я ужинала с матерью наедине в несвойственном мне приподнятом настроении. Ранним утром следующего дня отец уехал. Из окна своей комнаты я смотрела, как он укладывает портфель на колени, и повозка резко трогается с места.

Вечером того же дня он вернулся домой и убил мою мать.

Архив СШСДЖ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА СИБИЛЛЫ ДЖОЙНС

для детей, говорящих с призраками

Дорогой мистер Мейбл,
Тон град ли обо мне слышали, ибо деяния мои в глазах
большого мира небешки. Тем не менее, мне принад-
лежат открытия, способные заинтересовать любого
человека, надменного брабратением — я это вы,
мистер Мейбл, но безусловно, не лишены. Проглянув
в капитане Ахаде, поклявшись, разить через картонную
маску — я сразу поняла, что имел дело с человеком,
еще того зоркого взгляда не декальзидали тирецины
в Сине, и задумалась, какие вешра прилетали
к вам сквозь эти тирецины.

Мистер Мейбл, я отнеслась не тирецину в этой
стене, а дверь в ней.

Надеюсь, что этим я привлекла ваше внимание;
теперь же позвольте рассказать нечто о себе.

Я женщина отнюдь уже не юная, большого роста
и худощавого сложения, с высоким лбом. Я одеваюсь
строго и в выборе платья руководствуюсь наглыми
принципами (материал, образ, аксессуар), а не модой;
легкомыслие мне чуждо. Родилась я в маленьком
городке Чухини в Массачусетсе, росла
одиокой и неприкалной, так как

Письма мертвым писателям, № 1

В апреле 1919 года, за семь месяцев до своей смерти директриса Джойнс написала первое из серии писем мертвым писателям. Нам известна точная дата, так как впоследствии письмо вернули по обратному адресу в конверте с пометкой «доставить невозможно» и итем-пелем с датой. Из слов директрисы (см. письмо № 2) становится ясно, что когда она писала первое письмо, то не подозревала, что адресат скончался. Однако узнав об этом, не стала прекращать свою практику, так как видела в ней большую пользу. Таким образом, переписка с первым адресатом и другими умершими писателями продолжалась до самой смерти директрисы Джойнс. Увы, датировать последующие письма можно лишь приблизительно, так как в нашем распоряжении только копии, на которых не проставлены даты. Утерянные оригиналы предположительно до сих пор остаются в недрах почтовых отделений. Однако из имеющихся у нас материалов можно сделать вывод, что со временем письма участились и стали для директрисы Джойнс чем-то вроде дневника или хроники, которую она вела почти ежедневно. Таким образом Письма мертвым писателям являются бесценным источником, проливающим свет как на таинственные происшествия в Специальной школе в период, предшествующий кончине Джойнс, так и на картину ее стремительно ухудшающегося физического и психического здоровья. В письме № 11 она сама отмечает, что в предыдущем письме (№ 10) обращалась к вымышленному персонажу, хотя следующие подобные осечки уже не комментирует.

Подобно «Последнему донесению» и другим материалам, собранным здесь с единственной целью – приблизить книжное время к реальному, – Письма мертвым писателям приводятся в книге вперемежку с другими источниками, но читателям следует иметь в виду, что по времени они не совпадают с «Последним донесением», а предшествуют ему и подводят нас к его началу.

На всякий случай добавлю, что никто из адресатов Сибиллы Джойнс ни разу ей не ответил. – Ред.

Дорогой мистер Мелвилл, Вряд ли вы обо мне слышали, ибо деяния мои в глазах большого мира невелики. Тем не менее, мне принадлежат открытия, способные заинтересовать любого человека, наделенного воображением – а уж вы, мистер Мелвилл, его, безусловно, не лишены. Прочитав о капитане Ахаве, поклявшемся «разить через картонную маску» – а все видимые предметы, по его мнению, являются картонными масками, – я сразу поняла, что имею дело с человеком, от чьего зоркого взгляда не ускользнули трещины в Стене, и задумалась, какие ветра прилетали к вам сквозь эти трещины.

Мистер Мелвилл, я отыскала не трещину в этой стене, а дверь в ней.

Надеюсь, что этим я привлекла ваше внимание; теперь же позвольте рассказать немного о себе.

Я женщина отнюдь уже не юная, большого роста и худощавого сложения, с высоким лбом. Я одеваюсь строго и в выборе платья руководствуюсь научными принципами (главным образом, акустикой), а не модой; легкомыслие мне чуждо. Родилась я в маленьком городке Чизхилл в Массачусетсе, росла одинокой и неприкаянной, так как заикалась и страдала крайней застенчивостью. Родители не сопереживали моему недостатку, а всеми силами пытались его устранить – точнее, пытался отец, применяя для этого всевозможные карательные методы. Об эффективности его усилий можете догадаться сами. Лишь мои кролики...

Приступ кашля внес разлад в мои мысли, прошу прощения. Ах да, я рассказывала о детстве. Я страстно любила книги, мистер Мелвилл, и одно из ваших произведений, предусмотрительно спрятанное в пустом цветочном горшке, скрасило мне немало одиноких часов, про-

веденных в сарае, где меня запирали в компании одной лишь картошки; впрочем, я не имею ничего против картошки, а, напротив, предпочла бы ее общество компании большинства жителей Чизхилла. К писателям я питаю особую симпатию, хотя, откровенно говоря, мне кажется глупым тратить свою жизнь на сочинительство. Я работаю с тем же материалом – словами, но мои труды лежат в области науки и исследований. Тем не менее, пишу-то я вам, а не господам Тесле или Рентгену, или госпоже Кюри, и даже не мистеру Эдисону, ибо не сомневаюсь, что в области, имеющей наивысшую важность для мира сегодняшнего, прошлого и будущего – а именно в общении с мертвыми – писатели достигли большего прогресса, чем ученые (я не в счет).

Что возвращает меня к цели этого письма. Я – основательница и директриса школы-интерната и исследовательского института под названием «Специальная школа Сибиллы Джойнс для детей, говорящих с призраками», где мы обучаем детей профессии проводника для мертвых и учим путешествовать в их мир, а главное, возвращаться обратно. Все мои ученики заикаются. Почему? Потому что заикание, как и писательство – любительская форма некромантии.

Я и сама была ребенком, когда моими устами, неспособными произнести обычные слова и звуки, впервые заговорил призрак. Изучение загробного мира стало моей страстью. В школе на детской площадке я рассказывала другим детям обо всем, что знала сама. В юности я обошла всех известных медиумов своей эпохи в надежде поучиться у них, однако меня ждало разочарование: если у них и были ответы, они их тщательно охраняли, а большинство и вовсе оказались шарлатанами. Это вынудило меня вновь обратиться за наставлением к мертвым, и те меня не подвели. Я разработала свой метод, и на собственной шкуре почувствовав нехватку профессионального образования в нашей сфере, решила открыть школу для говорящих с призраками.

Вернувшись в Чизхилл, я вложила все свои средства в приобретение и ремонт заброшенного комплекса зданий, идеально отвечавшего моим потребностям, и с помощью школьных друзей набрала первый класс – все дети в нем, как и я, заикались. Их речь была нарушена, каждый из них представлял собой потрескавшийся сосуд, который мне предстояло сделать безупречным. Но не заделав трещины, нет, а отделив по очереди оставшиеся черепки и обнажив совершенную пустоту. Я хотела создать новый Эдем, где воцарится первобытная тишина и гул человеческих голосов перестанет заглушать спокойную, уверенную речь мертвых.

Сама я впервые перенеслась в мир мертвых по чистой случайности, и это едва не стоило мне жизни. По чистой же случайности, начав кричать, я обрела голос и вместе с ним – путь домой. Ибо чтобы совершить путешествие в тот край, дорогу нужно пролагать словами, описывая не только землю, по которой ступаешь, но и себя самого, ступающего по ней. Моя деятельность, как и ваша, зависит от моей способности выстроить убедительное повествование. В связи с этим я была бы рада любым советам, которые вы, великий писатель, могли бы дать мне, хотя в данный момент моей первостепенной задачей является получение помощи более материальной.

Недавно мы лишились одной из учениц. Учитывая естественную подвижность наших детей и природу обучения, таких случаев не избежать, но теперь моя школа подвергается нападкам. Ворота осаждают обыватели, чье понимание вечности ограничивается банальными изречениями на надгробных плитах. «Спасем детей!» – призывают они, демонстрируя лицемерие самого гнусного сорта, ибо детей, о которых идет речь, они же сами считают заикающимися имбецилами, дегенератами, дефективными недоумками. Этих же детей они готовы были отдать в руки любых жуликов, посуливших вылечить их от заикания, или отправить в любую дыру, лишь бы сбыть с глаз долой. Сама Эмили, ребенок отнюдь не приятной наружности и склада, поразила бы возвышенным эпитетам, которыми ее описывают в газетах. Бесценная крошка? Невинный агнец? Эмили была отнюдь не крошкой и не агнцем. «Родительское сокро-

вище, их драгоценный клад»? Эмили прекрасно понимала, что родители не ставили ее ни в грош.

Но в результате этой риторики (ибо слова в мире живых имеют такую же формообразующую силу) некоторые особо чувствительные родители стали забирать детей из школы, что не могло не отразиться на наших доходах. Увы, мы терпим катастрофические убытки.

Так что, если позволите, я хотела бы обратиться к вам с просьбой сделать пожертвование в пользу школы, возможно, даже заём. Любая помощь будет существенной. Я вложила в обустройство школы все свое наследство и теперь вынуждена жестоко урезать расходы, чтобы хватило на самое необходимое. Я знаю, что вы ограничены в средствах, но моя нужда велика, а дело я творю благое. Когда-нибудь мир оценит мои труды, и у меня будет возможность стоицей отблагодарить вас за покровительство.

В настоящее же время, увы, положение мое плачевно. Скажу прямо – я разорена.

Жду вашего скорого ответа,

Искренне ваша,

Мисс Сибилла Джойнс

Постскрипtum: Если же вы не располагаете денежными средствами и не можете одолжить их мне, могу я хотя бы воспользоваться вашим именем? Поручительство человека столь высокочтимого, несомненно, заставит враждебно настроенную публику смягчить отношение ко мне, честной искательнице правды.



2. Последнее донесение (продолжение)

Кто-то пропал, ребенок, катастрофа, хаос, крах, нужно вытащить ее, вернуть домой, вспомнить ее, оживить, спасти!

Слова плюс пульсируют во мне, подталкивают вперед, но в них нет смысла.

Спасти? От чего? От смерти? Но катастрофа – не смерть, а жизнь. Смерть – тихая гавань, прочный сук, на который садится воробей, цветущий луг для жука и влажная земля для червя, а для кита – глубины, куда не достанет гарпун. Этому я учу. Возможно, учу слишком хорошо: мои дети уходят рано и охотно. Ходят слухи, что обучение в школе связано с такими суровыми трудностями, что дети не выдерживают, в них пробуждается склонность к самоуничтожению; это ложь, поверить в которую может лишь полный невежда, хотя учитель из меня суровый, отрицать не стану. Но смерть – не конечный пункт, а начальный; а мы – ключи в руках путников, еще не отыскавших дом. Выбиваясь из сил, мы пытаемся втиснуться в замочную скважину запертого мира, и наступает момент, когда ключ поворачивается в замке.

Но на этот раз, увидев, как закрутился цилиндр и щелкнули смазанные штифты, я встала в скважину щепку. Я нырнула за пропавшей и крикнула в темноту, повелевая теням задержать ее.

Кого ее?

[Помехи; звуки дыхания.]

Финстер. Ева Финстер. Так звали ребенка, которого я искала. А может, и не так, и пропала совсем другая девочка, какая – мне неизвестно.

Впереди мелькнули ее узкие плечики в платье из гнойно-желтого органди – нет, поми-луйте, чепуха какая, из черной грубой шерсти, кое-где опаленной огнем. Как юркая форель, лавировала она сквозь *[неразличимый набор звуков]*. Затем мы обе затерялись в шуме и гомоне, что вечно царит здесь, то есть нигде, то есть в стране мертвых.

Здесь все белое, распадающееся на цвета спектра, на формы, и снова растворяющееся в белизну. Белое небо. Белые равнины, куда с невероятной высоты проливаются белым потоком души, с ревом выпадают из жизни сразу в смерть, без всяких промежуточных остановок. Нисходящий поток, белый водопад – единственная примета, о которой сообщают все путешественники; элементы потока находятся в непрерывном движении и падают так быстро, что кажутся неподвижными – одна громадная седая фигура, замершая в пространстве с поникшей головой. Порой в потоке наблюдается утолщение – это разом ринулись вниз жертвы пожара на текстильной фабрике, утопленники с большого корабля, сгинувшего в ледяных водах *[неразличимое слово]*.

Но мне нет дела до водопада сгинувших, мое дело – одна капля, которой здесь не место. Обнаружить ее – вот моя задача. Подобно всем детям, она изменчива, как мысль, и принимает разные формы – тритона, ложки, игрушечной машинки. Она не помнит, кто она. И я напоминаю ей об этом. «Финстер!» – зову я. Имя на мгновение упорядочивает поток, и я вижу ее. Потом она снова меняет обличье.

Я протягиваю ведро и зачерпываю ее; ведро покрыто красной эмалью, на боку надпись «ПОЖАР», а на дне плещется полумесяц чистой воды; это ведро создала я, чтобы выловить ее из потока, я создаю его прямо сейчас, описывая его. Я тоже вношу изменения в этот мир, но действия мои методичны. Ведро выныривает из потока сухим и изменившимся: теперь оно деревянное, из дуба, и скреплено ржавыми обручами, а на потрескавшемся краю муха довольно потирает лапки. В этой мухе я, кажется, узнаю Еву Финстер; она улетает; я следую за ней. Следую по тропе, которая тут же возникает под ногами. Крошечная черная крапинка передо мной мельтешит в теплой бурой пыли. Нужен сачок, понимаю я, и, занеся его, шагаю навстречу

крапинке. На крахмаленный подол моего черного платья садится бурая пыль. Я опускаю сачок. Ева ускользает, приняв облик заводной мыши, пушинки, облачка.

Я вновь собираю свой арсенал – крюки и сюжетные капканы, грамматические ловушки и кошки, – и пускаюсь вслед за ней. Она обернулась маленьким облачком, жмущимся к земле, и скользит по тропинке мне незнакомой (хотя казалось, что все тропинки здесь придуманы мной) – ее тропинке, тонкой, как нить, и запутанной, как ветви дерева. А может, это и есть деревья, по ветвям которых она бодро карабкается вверх? Меня охватывает странное чувство. Страх? Восторг? Оставив сачок для ловли бабочек у края дороги – сигнальный маячок, один из многих, оставленных мной здесь, увидеть который суждено лишь чудакам, отшельникам, а, возможно, и хулиганам, частенько мои маячки опрокидывающим, – я шагаю дальше, и тропинка ширится, превращаясь в дорогу.

Я знаю эту дорогу. Она отходит от почтового трактата тракта на Чизхилл, спускается в овраг и идет по его дну сквозь густой невзрачный подлесок, куда не проникает луч солнца, выходя на заболоченную пустошь, сплошь поросшую чертополохом и усеянную островками кустарника. Вдали виднеется крыша с фронтонами, величественные высокие деревья, хозяйственные пристройки. Теперь я поняла, куда мы направляемся. Впрочем, куда же еще? Я следую за ней.

На всем пути сквозь подлесок, который и не подлесок вовсе, за нами гонятся серо-зеленые прыгучие лающие твари, но не псы. Я подзываю кроликов: своих грозных защитников, умеющих летать и кричать. По всему телу у них раскрытые красные клювы и крылья вместо языков, а языки вместо крыльев. Кролики сражаются с серо-зелеными псами, которые вовсе не псы, и гонят их на чизхиллские холмы, знакомыми очертаниями встающие, как поднимающееся тесто, из моего воображения; кролики и псы растворяются вдали на их склонах и на время исчезают. На время, которое не время вовсе. Исчезают, хотя и не существовали вправду.

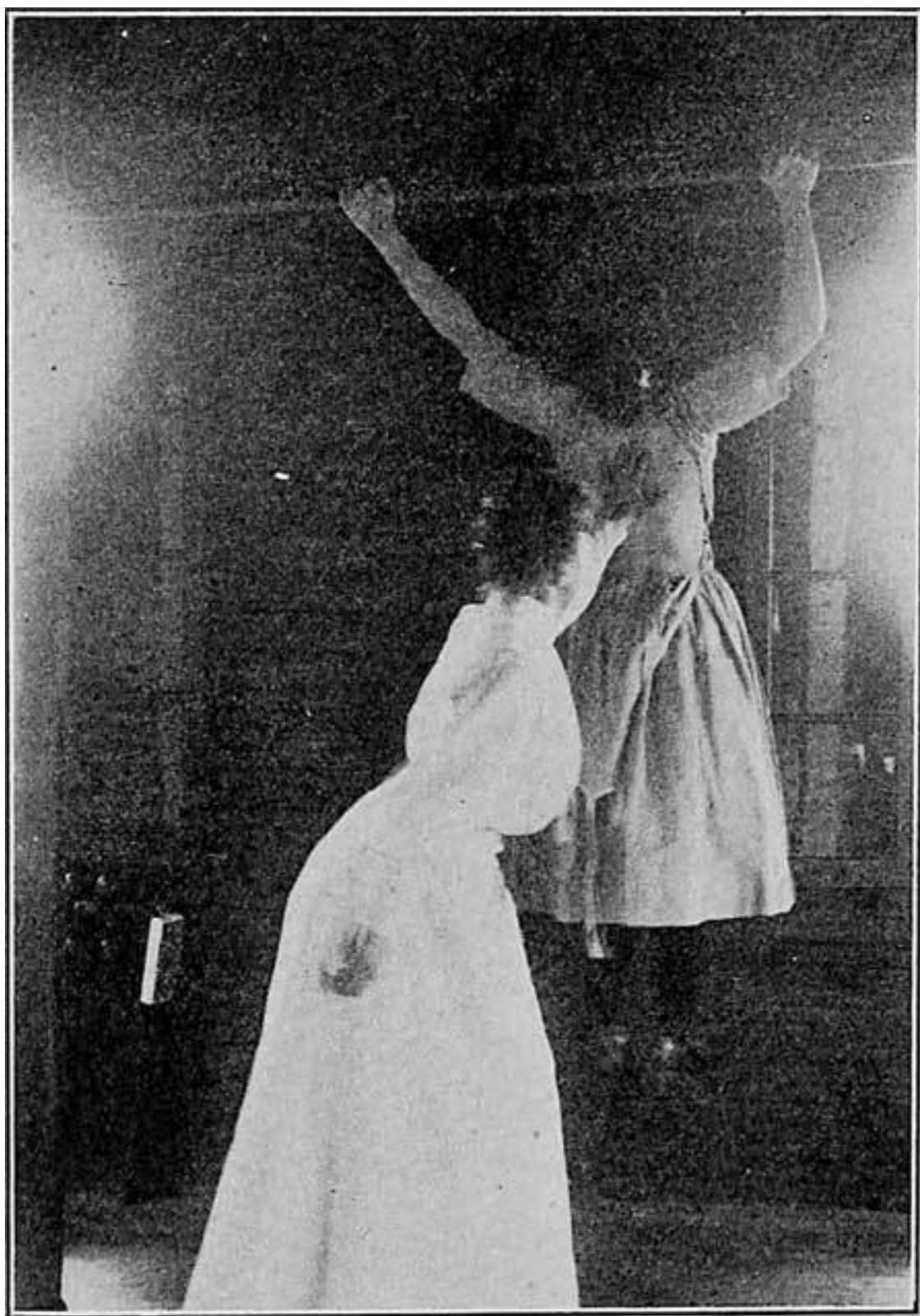
Оно – она – да, дитя [*пауза*] стремглав мчится дальше, теперь уже не в виде облачка, а в своем обычном обличье – девочка в платье из гнойно-желтого органди – нет-нет, в черной школьной форме, слегка опаленной огнем. Я мчусь вслед за ней.

Почему бы мне просто не отпустить ее? [*Помехи; звуки дыхания.*]

Если попытаться ответить на этот вопрос рационально, ответ найдется сразу: ни одной директрисе не хотелось бы лишиться ученицы под самым носом у инспектора из региональной службы образования. И в данных обстоятельствах, в данных обстоятельствах, в данных...

Кто-то пропал, ребенок, катастрофа, хаос...

Ты слышишь?



Рассказ стенографистки (продолжение)

И снова пауза. В комнате тихо, хотя события сегодняшнего дня оставили свой след: запах дыма и лампового масла, осколки стекла, пятно на ковре. Но все это может подождать, так что я, пожалуй, вернусь к рассказу о себе, хоть мне все время хочется говорить о себе не в первом, а третьем лице, печатать не «я», а «она» или «девочка» – вероятно, потому, что сидя в той прыгающей по ухабам машине, я с каждой минутой чувствовала себя все меньше собой и все больше кем-то еще – местоимением третьего лица в неизвестной истории. Тучи сгустились, небосвод потемнел, и наконец мы свернули на дорогу получше, но почти сразу же съехали с нее на безымянную тропу, спускавшуюся в крутой овраг, заросший буреломом, и пересекавшую полноводный ручей. У ручья мы свернули и некоторое время следовали по берегу, несколько раз переезжая его по мосткам. Наконец дорога вывела нас на бугристую заболоченную пустошь.

– Вот, – произнесла мисс Тень, потянувшись и стукнув тростью в окно с моей стороны, – Специальная школа. – В то самое мгновение солнце как по команде выглянуло из-за туч и осветило открывшуюся нашим глазам сцену, но несмотря на это, я увидела лишь рощу величественных покачивающихся деревьев, сгрудившихся вместе словно нарочно, чтобы скрыть из виду то, что находилось позади них. Но вот мы подъехали ближе, деревья покорно расступились, и передо мной в окружении хозяйственных построек предстал дом, черный и угловатый, похожий на дом из книги с картинками, в котором позже случится что-то ужасное. Черные птицы кричали и устремлялись вниз против ветра. Одинокие капли дождя принялись выстукивать телеграфное послание по крыше автомобиля.

Мы снова пересекли ручей, в этом месте широкий и обмельчавший, с берегами, поросшими низким кустарником, и подъехали к тяжелым чугунным воротам со старомодным кованым орнаментом, сквозь которые была продета блестящая новенькая металлическая цепь... хотя нет. Цепь добавили потом, совсем недавно, после того, как начались неприятности. Когда же я впервые приехала в школу, ворота были открыты, но все равно не выглядели гостеприимными. Мало того, по-видимому, их не запирали уже несколько лет, так как они были сплошь увиты сорняками. Мы беспрепятственно проехали внутрь, слушая, как хрустит и плюется под колесами мелкий гравий; шофер явно не горел желанием подъезжать слишком близко и остановился на почтительном расстоянии от входа.

– Выходите, мисси, – скомандовал он, открыл дверцу и протянул мне руку; моя сопровождающая уже шагала к крыльцу, а я так до сих пор и не пошевелилась. Я вышла так быстро, как позволяли затекшие спина и ноги, и не сразу выпустила длинные тонкие пальцы шофера, а тот глядел на меня с любопытством с высоты своего роста. Затем высвободил руку, обошел автомобиль кругом и достал из багажника потрепанный чемодан, принадлежавший еще моему отцу. – Я отнесу, – вызвался было он, но я видела, как не терпится ему скорее уехать, и покачала головой, отмечая возражения. – Уверены? Ну тогда я поехал. Нет, дитя, ни к чему это... ну да ладно, благодарствую. – Он покосился на удалявшуюся мисс Тень. – Надеюсь, вы понимаете, во что ввязываетесь, мисси, а коли не понимаете, может, оно и к лучшему. Что ж, счастливо оставаться. Не падайте духом! – Он дал задний ход, машину слегка занесло на повороте, и острый камушек, отскочив, вонзился мне в лодыжку. Я вскрикнула и наклонилась, потирая больное место.

Едва я выпрямилась, как дремавшее во мне чувство оторванности от моей прежней жизни и нынешней вырвалось на свободу, и все элементы нового окружения стали восприниматься столь же оторванными друг от друга, как и я от них. Все представшее моему взгляду казалось резким и глянцевым, а все предметы – существовали как бы сами по себе. Я видела дорожку отдельно и отдельно – кусты, росшие вдоль ее кромки; отдельно – деревья, растущие чуть поодаль. В кустах чирикали воробы, но их чириканье не сливалось в общий щебет; каж-

дая птица существовала обособленно. Я видела каждое дерево, их кроны выглядели неестественно яркими на фоне грозового неба; они существовали отдельно друг от друга и от поля, на которое падали их отдельные тени, но и тени эти виделись мне отдельными от поля, на которое их отбросил солнечный свет. Трава росла отдельно от земли; каждый стебель чертополоха отличался от другого, от грязи, из которой выбивался, и от неба. А самым обособленным было здание школы; все окружающие объекты словно шарахались от него.

Мисс Тень скрылась в тени высокого и узкого крыльца; там, в глубине, должно быть, открылась дверь, впуслав ее и снова закрывшись за ней. Автомобиль давно уехал, и с ним – мой последний шанс убраться отсюда, в смятении подумалось мне. Но куда мне идти и что делать? Я чувствовала кости своих пальцев, сдавленных ручкой чемодана. От здания школы исходил шепот или тихий гул, нараставший и стихавший с ветром.

Меня же пригласили, храбрысь, подумала я. Я имею право здесь находиться. И зашагала по дорожке к крыльцу. Казалось, что до парадной двери еще очень далеко. Мой чемодан был довольно большим – при желании я сама могла бы в него уместиться – и при каждом шаге больно бил меня по щиколоткам. Мои кожаные туфли были покрыты узором из дырочек. При каждом шаге свет падал на них под разным углом, и отверстия отбрасывали тени в форме полумесяцев, то растущих, то убывающих. Иногда эти маленькие тени проглатывала большая тень, отбрасываемая моей собственной фигурой, или тень от спустившихся черных чулок, покрытых катышками. Мои щиколотки то сгибались, то разгибались, каждая по отдельности. И все эти явления существовали обособленно и воспринимались мной обособленно, и сама я была оторвана от них и даже от себя, девочки, шагавшей по белому гравияу к нижней ступени крыльца. Так вот значит, как выглядит дом с привидениями, подумала я. Я не так себе их представляла. Привидений. А теперь выходит, что привидение – это я.

Тут дверь отворилась, и на крыльцо вышла белокожая девочка в школьной форме.

– П-п-привет, – громко и облегченно выговорила я, – меня зовут...

Но тут я увидела, что глаза ее заклеены липкой лентой, а рот открыт, но не в приветствии, а с какой-то иной целью. На ощупь она дошла до верхней ступеньки крыльца и начала спускаться вниз, аккуратно нащупывая ногой края ступеней. Тень крыльца сползла с ее лица, как вуаль, зацепившаяся за сук, и раскрытый рот осветило солнце, полыхнув на языке ярким серповидным бликом. Нога наконец нащупала каменную плиту у подножия лестницы, девочка уверенно ступила на дорожку, ведущую от дома, и всем телом налетела на меня.

Мне почему-то в голову не пришло шелохнуться. Мне казалось, что меня нет и потому до меня никак нельзя дотронуться.

Пошатнувшись, я попятилась назад, уронила чемодан и ухватила за жесткие и тонкие цыплячьи локти девчонки. Было не совсем ясно, пытались ли мы удержать равновесие или преследовали какую-то совсем иную цель. Девочка оказалась ниже меня ростом, и сквозь ее тонкие прямые волосы, разделенные пробором, просвечивала кожа головы, словно из мутных темных вод поднималось нечто белесое, чему бы лучше оставаться на дне. Лоб ее покрывал тонкий белый пушок, и брови были не намного гуще; этим пушком были припорошены даже ее острые скулы, на одной из которых виднелась большая бурая родинка. Через глазную повязку я видела, как вращаются в орбитах ее глаза, словно следя за движущейся мишенью у нее в голове.

Она выпрямилась, несколько раз резко выдохнула через ноздри, а рот ее, словно управляемый множеством голосов в ее голове, каждый из которых давал ему разные приказы, сперва растянулся в натужной полуулыбке, затем сжался в трубочку и раскрылся, обнажив пульсирующий язык. Снова закрыв рот, она выдавила долгое «ввввв», и тут до меня наконец дошло, что она пытается заговорить. Волна изумления разлилась по моему телу, как талая вода.

Дом перестал казаться угрюмым. Чувство оторванности и отдельности уступило заинтересованности и ощущению родства. *Она тоже заикается, как я, а то и хуже!* Меня снова охватила надежда, что здесь я найду свое место, а может, даже сумею отличиться.

И тут девочка открыла рот и произнесла мужским голосом, властным и ошеломленным, без намека на заикание:

– Кто ты? Ты не моя дочь.

Я отшатнулась. Девочка отвернулась, направилась в сторону и, спугнув стайку воробьев, начала пробираться сквозь кустарник.

Потрясенно схватив чемодан, я поднялась по лестнице к входной двери, которая, к моему облегчению, по-прежнему была открыта; постучать я бы в жизни не осмелилась. Мне удалось протиснуться внутрь и затащить чемодан в щелочку, не коснувшись обитого железом края и холодного язычка щеколды, высунувшегося и смотревшего прямо на меня.

Широкая лестница вела на темную площадку второго этажа, а выше растворялась в темноте. Ступени протерлись почти добела и лишь у стен остались лакированно-черными; на темной поверхности, как кометы в ночном небе, блестели редкие золотистые царапины. Мисс Тени и след простыл, однако на лестнице сидел тощий и бледный рыжеволосый мальчишка лет четырнадцати и тыкал себя в рот длинной заостренной палочкой. Губы его были все в порезах и кровоточили, а палочка – красной от крови.

Увидев меня, он прекратил свое занятие и нетерпеливо склонил голову набок.

– Ммммм... у-хммммм... – Меня прошиб мелкий пот. Рукава прилипли к коже. – Ммммм... У-хммммм-ммм...

Я зажмурилась. А когда открыла глаза, увидела, что мальчишка потерял ко мне интерес и со скучающим видом снова начал тыкать себя палочкой. Я перевела дух и попробовала снова.

– Ммм-может, вы знаете, куда здесь положено идти новеньким? Кому мне показаться? – спросила я.

– Я... – Он похлопал ресницами и снова прекратил свое занятие. Затем вздернул подбородок и произнес: – Я бы не стал этого делать. – И снова принялся истязать себя.

– Чего делать? – Я, с одной стороны, была возмущена полным отсутствием у него манер, а с другой – заинтригована. Я знала, что мне предстоит учиться вместе с такими же заиками, как я, но никогда еще мне не приходилось сталкиваться с полным отсутствием любопытства, жалости и насмешек. Здесь я была обычной. Подумать только!

– Идти. И п-п-п-показываться. На т-т-твоем месте я бы не стал никуда ходить и показываться. Ясно же, что она не хочет тебя видеть. Если бы хотела, уже бы встретила. И вызвала в свой кабинет. И в-в-выдала форму, а может, и другие привилегии, – последнее слово он произнес подчеркнуто саркастичным тоном, – привилегии, о которых остальные могут только м-м-м-мечтать, ведь одному богу известно, какими почестями она бы наделила тебя, если бы действительно хотела тебя видеть. П-п-п-поверь, будь это так, тебе бы не пришлось меня спрашивать, – с этими словами он замолчал, поднял подбородок, закрыл глаза и снова ткнул себя палочкой в рот. – Нет, любезная, если ты с ней до сих пор не повидалась, убирайся лучше восвояси.

– Но я только приехала!

– Вот и хорошо, значит, еще не успела ничем ей насолить. Убирайся, пока можешь. – С этими словами он сунул в рот кончик своего пыточного орудия и попробовал его на вкус.

Я ошеломленно замолкла, надеясь, что сдержусь и не расплачусь. Представила, как стучусь в дверь тетки Маргарет с чемоданом в руке, говорю, что это все было глупой ошибкой, недоразумением, вижу выражение ужаса на ее лице... и поняла, что скорее брошусь под поезд, чем вернусь домой. Мысль об этом успокоила меня, и тут я вспомнила письмо, подтверждающее, что меня приняли в школу: конверт с напечатанным адресом, длинный волос, наполовину темный, наполовину белый, прилипший к клеевому краю, короткая записка на бумаге тонкой, почти как папиросная, вложенный в письмо билет на поезд. Мисс Тень, встретившую меня на платформе с табличкой, где вместо моего имени зияла дыра; имя она выкрикивала вслух. Нет, не может быть, что я ошиблась.

Значит, дело в другом. Что ж, не впервые меня встречают недоброжелательно из-за цвета моей кожи. Резкий ответ готов был сорваться с уст, когда парнишка вдруг вскочил и скрылся в узком проходе за лестницей, ведущем в недра здания. Где-то тихо затворилась дверь.

Через мгновение на лестнице показались ноги в массивных черных ортопедических ботинках. Звук их шагов был слишком тяжелым – *дум, дум, дум*, – будто обладатель ботинок нес что-то очень громоздкое, что в любой момент могло упасть, если вовремя не поставить это на пол. Я попятилась. Вскоре та, кому принадлежали ботинки, вышла на площадку и постепенно, частями, явилась моему взору целиком. Мне показалось, будто у ног вдруг случайно выросли туловище и голова, что выглядело довольно страшно. Неприятное ощущение усиливалось оттого, что дама была в длинном платье из накрахмаленной плотной ткани и ноги ее словно вырастали из плеч. Даже ее лицо, красное, с глубокой сухой трещиной на пятке-подбородке, напоминало подошву.

– Немедля поднимайся, дитя! Ну что ты там застряла! – воскликнула незнакомая дама, развернувшись, и снова от нее остались одни ноги. *Дум, дум, дум*, загремели по лестнице шаги.

Я поспешила следом, волоча за собой чемодан, с каждым шагом ударявшийся о ступеньки; один замок расстегнулся, я задержалась, чтобы застегнуть его, и когда поднялась на площадку второго этажа, дамы в черных ботинках уже и след простыл. Не слышала я ее шагов и выше на лестнице, и потому решила свернуть в широкий коридор, тускло освещенный единственным окном в конце. По обе стороны коридора тянулись закрытые двери.

В коридоре было полно детей в школьной форме, от совсем маленьких, лет примерно шести, до казавшихся мне почти взрослыми. Среди них я с облегчением увидела нескольких чернокожих, азиатов и других, чью расу определить на взгляд было невозможно. Большинство стояли в очередях, ведущих к той или иной закрытой двери; очереди пересекались и переплетались, но не смешивались. Эта картина могла бы показаться упорядоченной, если бы не кое-что странное, происходившее здесь же, рядом: на полу, раскинув руки и ноги, лежала девочка, а другая, постарше, к чьему форменному платью на спине было приделано нечто вроде паруса, что делало ее похожей на динозавра с гребнем, пыталась всунуть ей в рот зауженный конец восьмифутовой картонной воронки, упорно не желающей держаться прямо. Другая ученица беседовала с неким предметом, напоминавшим маленький ромбовидный ластик, то и дело поднося его к уху, чтобы услышать ответ. Трое мальчиков, один, как и я, смешанной расы, пытались засунуть друг другу в глотки ладонь целиком. Хлопнула дверь, и из нее выбежал юноша, изо рта которого струились черные бумажные ленты; распахнув дверь напротив, он ворвался внутрь и захлопнул ее за собой. Глядя на эти диковинные вещи, я стояла как вкопанная, а потом, сама того не желая, захихикала. Никто не обратил на меня ни малейшего внимания. И снова у меня возникло ощущение, что я призрак; никто не видит меня и не слышит. Как ни странно, меня это очень успокоило.

Вдруг что-то промелькнуло у самого моего лица, задев меня крылом: в дом каким-то образом проник воробей. Бедолага трепыхался и бился о круглое окошко в конце коридора, а потом ринулся прочь от него. Дверь рядом со мной открылась, и дети по очереди стали заходить внутрь. Я наблюдала за ними, примостив чемодан на своих ботинках. За дверью я увидела грифельную доску, скамьи и анатомические диаграммы, висевшие на деревянной рейке. Зашел последний ученик. Белый мужчина с тугими черными кудрями и пурпурно-красным лицом, одетый не то в мантию, не то в свободную блузу, застегивающуюся на пуговицы на спине, высунулся в коридор, увидел меня – чему я очень удивилась (впрочем, если он медиум, то должен видеть призраков, подумалось мне), – раздраженно щелкнул языком и произнес:

– Что стоишь столбом? Марш на свое место! – С этими словами он схватил меня за локоть и затащил в класс.

Он встал у доски и поднял линейку. Его блуза так туго стягивала шею, что вся кровь, казалось, прилила к голове. Я бы не удивилась, выступи у него на лбу кровавый пот. Он ударил

линейкой о поцарапанный деревянный стол с такой силой, что линейка отскочила и треснула его по щеке. В ярости он схватился за щеку и потер болезненное место, где мгновенно налился синяк, а дети – кроме меня, – с грохотом отодвинув стулья от парт, вскочили на ноги и принялись тараторить, по всей видимости, заученные наизусть строки, хотя говорили они так быстро, что я не могла разобрать ни слова. Не исключено, что при этом они заикались, но если и так, то делали это очень слаженно и – если это в принципе возможно – без единой запинки. Звуки их речи меня напугали, и ощущение оторванности вернулось; вновь я перепугалась, что попала не туда и меня здесь не примут за свою. Учитель смотрел на меня и отсчитывал такт линейкой.

Я неуверенно открыла рот. Музыка – а это было похоже на музыку – немедленно затихла. Голоса стихли зловеще внезапно и зловеще одновременно – с человеческими голосами не бывает такой синхронности, – и все горящие глаза разом устремились ко мне, словно на меня вдруг уставилось большое многоглазое насекомое.

– Я просто решила сделать вид, что повторяю за всеми, – проговорила я, повернувшись к учителю и расправив плечи. – Мне очень неловко, ведь я не только попала на урок без спроса, но даже не знаю, где должна находиться. Я только что приехала... – И я указала на свой чемодан. Говорила я с несвойственной мне уверенностью и не заикалась, что несказанно удивило меня, и я почувствовала, как по лицу расплывается глупая улыбка.

– И чему тут улыбаться? – рявкнул учитель. – Если это не твой класс, будь добра, избавь нас от своего присутствия. Немедля отправляйся к координатору.

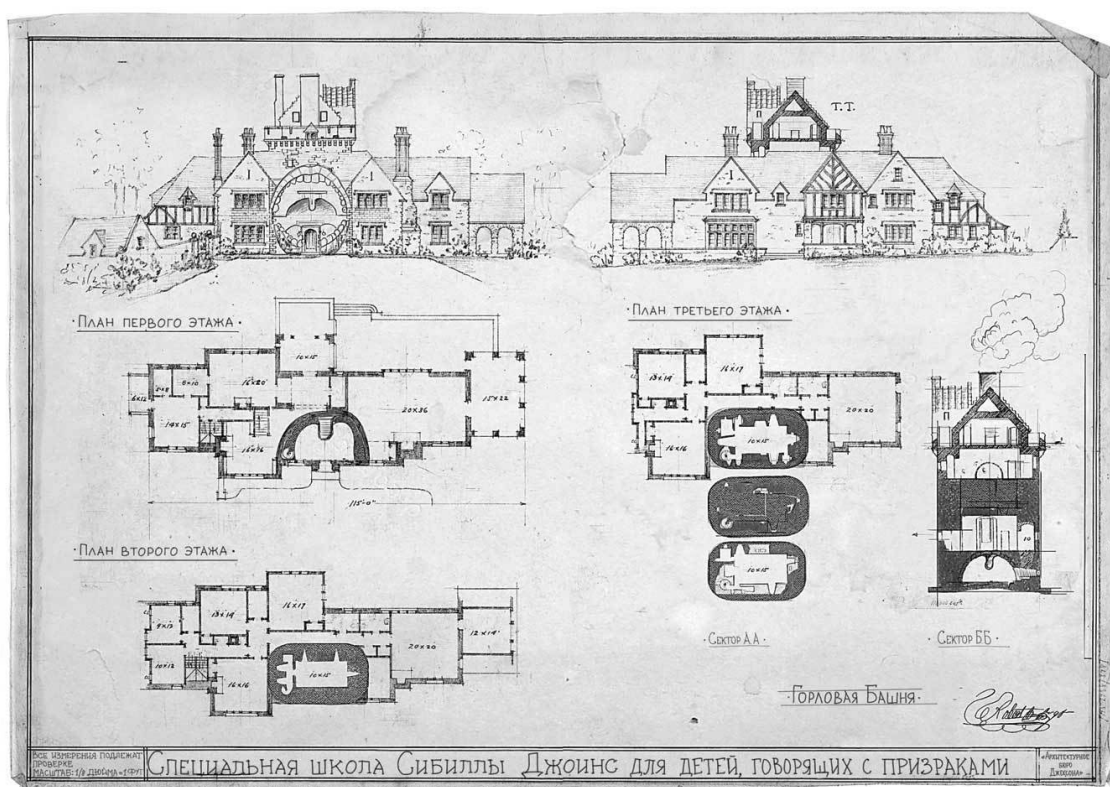
С разъяренным видом он отвернулся и снова треснул по столу линейкой. На этот раз у нее отломился кончик и отскочил к стене; я вскочила и поспешила прочь. Я стояла в коридоре, угрюмо разглядывая двери в поисках хоть какой-нибудь подсказки, и тут одна из них открылась.

– Вот ты где, – произнесла дама с лицом-подошвой, покрасневшая так, что волоски над верхней губой и на щеках белели на пунцовом фоне. – Ты куда запропастилась?

Наверное, она и есть координатор, решила я и молча проследовала за ней в небольшой кабинет, где стояли стол и кушетка с небрежно скомканным пушистым покрывалом невнятного цвета и из невнятного материала. На полу у кушетки стояли черные ботинки великанского размера, те самые, что я видела на лестнице. Дама села, подобрала под себя ноги в чулках, подоткнула подол платья и тяжелой, крупной ладонью похлопала по кушетке рядом с собой.

– Тебе не повредит немного вздремнуть, – заметила она, убрала за уши выбившиеся волосы и положила голову на руку, как на подушку. Не прошло и минуты, как она заснула. Подбородок ее слегка подрагивал; во сне она скрипела зубами.

Мне это показалось чрезвычайно странным, но я вдруг ощутила сильную усталость и неуверенно присела на самый краешек кушетки. Не далее чем через секунду из-под кровати высунулась белая кошачья лапа и схватила меня за лодыжку; когти зацепились за чулок, ткань натянулась, но кошка потрясла лапкой и вскоре отцепилась. Сняв туфли, я примостилась на самом краешке кушетки, стараясь не коснуться спящей рядом дамы ни рукой, ни ногой. Тем не менее, близость ее теплого тела убаюкивала, и вскоре я уже крепко спала.



ДАТА 19__	ПРИМЕЧА- НИЯ	ПРИХОД	РАСХОД	ПРИХОД ИЛИ РАСХОД	БАЛАНС	ДАТА 19__
	О архитектуре					
	Специальной школы					ИЗ АРХИВА СПЕЦИА
	Специальная школа представляет собой ряд зданий, большинство которых построены еще давно и порядком обветшавшим. Даже летом внутри сухо и прохладно. Единственная постройка, возведенная относительно недавно — часовня Церкви Славы. (Это ее узкий и лишь, торжественный фасад обветшавшей кареткой, словно панно, призывающий к молитве, представлял собой взору, когда я шел по дороге к крыльцу. А, кажется, даже говорил, что язык средние великие памятники монументальной архитектуры, воздвигнутые нашими далекими предками? В Специальной школе самая архитектура была говорящей. Так, за сводчатый входом в часовню посетители встречали зал, помещение которого отражало трехкомпонентную философию Специальной школы.					

МД



Документы

Отрывок из «Наблюдений очевидца»

Нам посчастливилось получить заметки очевидца, который побывал в Специальной школе Сибиллы Джойнс при жизни директрисы. Этот человек, ко всему прочему, был ученым, специалистом в области, ныне носящей название лингвистической антропологии. К сожалению, после написания упомянутых наблюдений, которые я привожу в сокращенном виде, об ученом больше никто ничего не слышал.³ Он оставил лишь черновик незавершенной книги в виде вороха разрозненных рукописных заметок; книга, впрочем, свет так и не увидела. Эти наблюдения публикуются впервые; я обнаружил их в архиве старых документов, купленных на аукционе филиала Американского общества спиритуализма и трезвости в Цинциннати (весь филиал состоял из двух старых кумушек). Поскольку отчет довольно длинный и у некоторых читателей может не хватить терпения, я разбил его на части; те же, кому не терпится прочесть все от начала до конца, могут перескочить через главы и сделать это. – Ред.

Что привело меня в специальную школу

Мой интерес к Специальной школе Сибиллы Джойнс для детей, говорящих с призраками, был прежде всего обусловлен сложностями с произношением буквы «м».

Мои родители принадлежали к среднему классу и были людьми практичными и трудолюбивыми. Возможность получить дорогостоящее образование появилась у меня благодаря покровительству богатой двоюродной бабки, которой не было до меня никакого дела, однако когда родители обратились к ней за помощью, она им не отказала (впрочем, после этого она по-прежнему не желала иметь со мной ничего общего). В небольшом университете, где я недавно завершил аспирантуру, я нашел свою узкую нишу и прилежно продолжил втолковывать юным умам все то же самое, что втолковывал мне мой предшественник, недавно (и крайне для меня своевременно) ушедший на пенсию. Я понимал, что мне повезло, но страдал от несварения желудка и, как ни совестно в этом признаваться, от скуки. Но когда мне было тридцать с небольшим лет, случилось нечто, из-за чего больше скучать мне не приходилось, но, увы, в самом плохом смысле: я начал заикаться. О, видели бы вы, в какой восторг пришли юные дам-м-ммы и джентльм-м-м-мены, сидевшие на моих лекциях, и как я мучился! В поисках лекарства я наткнулся на рекламную брошюру Специальной школы Сибиллы Джойнс.

Лекарства я в школе не нашел, зато нашел тему для диссертации.

Я давно подозревал, что своим происхождением язык обязан тоске по умершим. Не будь у людей потребности говорить с умершими возлюбленными, никто не стал бы утруждать себя речью, ведь для повседневного общения достаточно простейших междометий и жестов. Изобилие слов и фраз, присутствующее во всех языках мира, никак не оправдано бытовой необходимостью. Для того чтобы крикнуть «берегись, там тигр!» или «дай мясо!», не нужны цветистые метафоры. Нет-нет, язык, несомненно, является эквивалентом грандиозных памятников усопшим – египетских пирамид и сфинксов? – воздвигнутых каторжным трудом нескольких поколений живых.

Я разглядел рекламную брошюру на столе и переписал адрес. Вот оно, подумал я, прямое доказательство связи между языком и смертью. Даже если ученики и наставники Специальной

³ Впрочем, существует вероятность, что он продолжает наблюдать за школой из загробного мира, используя меня в качестве подозрительной трубы, нацеленной на объект его исследований. Но не воспринимайте мое предположение слишком серьезно. – Ред.

школы не горевали по мертвым, ведь для них те продолжали незримо присутствовать рядом, это не опровергало мою гипотезу. Они лишь сократили путь от утраты к языку, достигая утешения так быстро, что горе перестало ощущаться. И все же тоской по умершим объяснялось все, что они делали. Я поверил в это еще прежде, чем увидел карнизы крыши, черневшие на фоне беззаботно-голубого неба, и устремил ошеломленный взор на внушительный фасад Специальной школы.

Об архитектуре специальной школы

Специальная школа представляет собой ряд зданий, большинство которых построены давно и порядком обветшали. Даже летом внутри сыро и прохладно. Единственная постройка, возведенная относительно недавно – часовня Церкви Слова. (Это ее узкий шпиль, устремленный ввысь над обветшалой каретной, словно палец, призывающий к молчанию, явился моему взору, когда я шел по дороге к крыльцу.)

Я, кажется, уже упоминал, что язык сродни великим памятникам монументальной архитектуры, воздвигнутым нашими далекими предками? В Специальной школе сама архитектура была говорящей. Так, за сводчатым входом в часовню посетителя встречал зал, помещения которого отражали трехкомпонентную философию Специальной школы. Форма здания напоминала Говорящее ухо и Слышащий рот. Многонефный зал – а точнее, разделенный колоннами на множество завитков, напоминающих строение ушной раковины – венчал ребристый свод, похожий на небо. В центральном нефе, имеющем форму Языка и олицетворявшем его, сидели дети. (В одинаковых шортах, курточках и кепи из красной фланели, они напоминали садовых гномов.) Наставники изображали Зубы и носили высокие колпаки из накрахмаленной фланели цвета слоновой кости; они сидели чуть выше, в один ряд, и время от времени спускались на нижний ярус, чтобы восстановить дисциплину. Среди собравшихся свободно перемещались Слюнные – старшие ученики в больших розовых воротниках из папье-маше, напоминавших древнеегипетские широкие ожерелья *усех*; воротники символизировали зев. Старшие ученики раздавали собравшимся кляпы, ластики и прочие ритуальные предметы.

В центре амфитеатра, слева и справа от громадной зияющей дыры в несколько рядов стоял Неалфавитный хор; дна отверстия не было видно, однако на стене его имелся уступ, блестящий от слюны – в ходе церемонии собравшиеся плевали в яму. (Я тоже внес свою скромную лепту.) Перед отверстием, но не загораживая его, имелся экран из черной бумаги с небольшой прорезью посередине, куда директриса просовывала свои густо на помаженные губы и обращалась к собравшимся. Возникала пугающая иллюзия, что ее рот вот-вот проглотит другой рот, гораздо большего размера; но не раньше, чем предоставит малому рту возможность произнести последние, еле слышные слова – пронзительное «Не смей!» или куда более будничное «Для выведения пятен применяйте белый уксус».

Из всего сказанного ясно, что часовня предназначалась для образовательных целей; но для чего тогда служило главное здание школы? Оригинальная постройка, где прежде размещался Чизхиллский приют для заблудших девиц, была возведена на этом месте в 1841 году, почти за шестьдесят лет до открытия Специальной школы, однако облик некогда степенного викторианского здания ныне утрачен из-за дополнений столь странного и причудливого вида, что по крайней мере одному наблюдателю пришлось в голову усомниться в том, можно ли считать их архитектурой; он сравнил их с «биологическими наростами наподобие грибов» (об этом писал Джим Джексон в книге «Архитектурные курьезы старой Новой Англии»⁴). Однако те, кто, отбросив предвзятость, взойдут на его нелепое крыльцо, заблудятся в его коридорах и

⁴ Джексон продолжает: «Прохожий, чей взгляд даже случайно упадет на эту чудовищную постройку, вынужден будет прилечь на травку с мокрой повязкой на лбу, сомневаясь, что архитектор сего здания находился в здравом уме».

лишатся чувств в его обморочных комнатах, обнаружат в нем некое странное обаяние и постепенно начнут поддаваться ему. Хотя в помещениях школы нет ничего явно сверхъестественного или волшебного, тому, кто оказывается в ее стенах, тем не менее начинает казаться, что он попал в другой мир, где плоские поверхности изгибаются, параллельные линии сходятся, а привычные представления о верхе и низе, левой и правой сторонах перестают быть верными.

Однажды директриса приоткрыла завесу над этой тайной, отпустив одно из свойственных ей афористических замечаний. «Здание, как и человек, – сказала она, – всего лишь портал». Как свойственно порталам, здания связаны с миром мертвых особой ниточкой: задумайтесь, сколько в мире лугов или детских площадок, населенных призраками, и сколько домов. Но и эту связь можно усилить, скорректировать. Когда коридор посредством подвесного потолка и настенных панелей преобразуют так, что тот принимает точную форму трахеи, гортани или ротовой полости, он может и заговорить.

Не знаю, тем ли объяснялся странный гул, наполнявший коридор второго этажа и другие помещения, когда во второй половине дня с долины задувал ветер и попадал в коридоры через большое слуховое окно, которое в этот час слегка приподнимали с помощью подпорки (подпоркой служил клиновидный кусок дерева, заостренный с одного конца). В это время стены школы, казалось, издавали вибрации столь низкие, что их скорее можно было ощутить, чем услышать – то был не звук, а аура. Распахивающиеся и закрывающиеся двери классных комнат исполняли роль клапанов флейты; мелодия то нарастала, то стихала. С каждым разом в этой симфонии мне удавалось расслышать все больше нюансов.

Например, в стенах здания тут и там были просверлены отверстия и воздуховоды, издававшие тонкий протяжный свист и писк. Несколько месяцев слушал я эту чудную музыку и наконец понял, что научился предвидеть изменения ее ритма. Поначалу это казалось невозможным, но я выяснил, что ученики, наставники и слуги, проходя через двери, следовали сложной, но повторяющейся схеме. Невероятно! По всей видимости, директриса использовала принципы сочинения музыкальных произведений, чтобы организовать перемещение учеников из класса в класс и работу прислуги – задача, с точки зрения логистики весьма непростая, но теоретически вполне осуществимая. Однако в предвечернее время в коридорах неизменно царила суматоха: хлопали полы черных учительских мантий; кто-то из учеников слонялся без дела, кто-то спешил, царапая пол каблуками туфель, которые были слишком велики; служанки с бесстрастными лицами и покорно опущенными головами сновали по коридорам, закрывали одни двери и открывали другие. Неужели в этом хаосе таится искусственно созданный порядок? И если да, с какой целью его создали?

Я несколько раз задавал этот вопрос директрисе и всегда получал разные ответы. Однажды она сказала, что дом устроен как аппарат для улавливания сигналов, а вибрации учеников можно настроить на частоту потустороннего мира. В другой раз заявила, что дом – педагогический инструмент. Она также называла его философским высказыванием о языке, смерти и, конечно же, архитектуре, учитывая свойство языка к рекурсии. Дом был всем перечисленным. Но понастоящему я услышал его песнь, лишь узнав, кто жил когда-то в Чизхиллском приюте для заблудших девиц ⁵; тогда-то я понял, что дом – еще и история с призраками.

Следует признать – узнав об этом, я почувствовал облегчение. Мало того, что подтвердилась моя теория связи между языком (в его архитектурной форме) и утратой, я понял, что есть привычное, человеческое объяснение печали, которая накатывала на меня в минуты, когда в сумерках в саду я видел медленно плывущего в воздухе светлячка, улавливал отрывок странной песни, гулявшей по школьным коридорам, и, оглядываясь, замечал в освещенном окне силуэт женщины, которая, завидев меня, спешила отвернуться.

⁵ По-видимому, речь идет о матери директрисы. – *Ред.*

Из моих рассуждений ясно, как далеко я отошел от рационального восприятия. Призраки? Я и прежде считал их делом обычным. Однако песнь старого дома, которую я то ли слышал взаправду, то ли вообразил, сбивала с толку и даже, признаюсь, пугала меня. Так почему же я прямо сейчас продолжаю ее напевать? Почему так глубоко запомнился мне этот мотив? Я не перевожу его в более высокий регистр, а напеваю в исходном регистре, который, как я уже говорил, не звук, а чувство: я напеваю его душой. Пение не приносит мне радости. Но я давно заметил, что люди склонны повторять действия, которые вовсе необязательно приносят им радость.

Между прочим, в Специальной школе есть целое крыло, не имеющее материальной формы. Оно существует лишь в виде словесных описаний, слухов и воспоминаний.



Письма мертвым писателям, № 2

Уважаемый мистер Мелвилл,

до меня дошла весть о вашей кончине. Жаль, что я не знала об этом, когда писала предыдущее письмо. Я бы не стала понапрасну тревожить вас просьбами помочь мне. Как вы, наверное, помните, я надеялась убедить вас поддержать мою школу материально или на словах. Поручительство из уст великого писателя, чьи произведения стали национальным достоянием...

Увы, холодный труп не может написать открытое письмо в «Таймс».

Не может он и прочитать письмо. Разумеется, не может. Вероятно, я умом тронулась, раз продолжаю писать вам, и правду говорили миссис Брок и другие курицы из «Сестринства гармонии душ», считавшие меня ненормальной. Но что такое «норма», когда речь заходит об общении с мертвыми? Нормально ли столоверчение, беседа с призраком Авраама Линкольна или струящаяся из ноздрей эктоплазма, запечатленная на дагерротипе (а именно такой трюк провернула Виктория Литтлброу в августе прошлого года в Чикаго в доме Божественных Ближнецов)?

На всякий случай поясню: надеюсь, из прошлого письма у вас не сложилось ложного впечатления обо мне как о даме в траурной вуали, хватающей за ледяную руку дочь-утопленницу и не замечающей ведра с ледяной водой на коленях у медиума. Мои исследования продиктованы научным любопытством, а не заблуждением, и осуществляются при помощи новейших технических средств. Я использую рефлектограф, коммуниграф, динамистогграф, который также называют «цилиндрами Мальты», и многие другие приборы оригинальной конструкции.

Мои ученики получают не только специальное, но и общее образование – осмелюсь сказать, превосходного качества. Историю в школе преподают очевидцы исторических событий; Булеву алгебру – Джордж Буль собственной персоной. Термодинамику мои подопечные осваивают под руководством Джима Максвелла; теорию естественного отбора разъясняет сам Дарвин. В дневное время занятия в школе не прекращаются ни на секунду. Даже сейчас она гудит, как пчелиный рой, и из-за стены до меня доносится сухой речитатив, похожий на стрекот цикад: это мои заикающиеся практикуют алфавитные гаммы под суровым надзором налитых кровью глаз мистера Лью. Некоторые не выговаривают букву «а», другие – «б», «в» и «г». Недавно я узнала, что в нашем городе (кто бы подумал, в Чизхилле, прямо у меня под носом) есть ребенок, неспособный выговорить «д»; даст бог, и у нас соберется целый молчаливый алфавит.

Когда-то я не могла произнести свое имя, а когда ребенок заикается, он обретает способность: дар, который я намерена развить в своих подопечных. Каждому из них я дала новое имя, в зависимости от их талантов. «Вы – «а» и «б» нового Эдема», – говорю я им.

Вы, возможно, недоумеваете, зачем я продолжаю тревожить ваш покой: неужели не найдется живых авторов, к которым я могла бы обратиться за помощью и наставлением? Пожалуй, дело в том, что мне спокойнее в компании мертвых, хотя я не вижу большой разницы между живым и мертвым писателем. Не только потому, что после смерти писатель продолжает жить в своих произведениях, но и потому, что написанные слова становятся для писателей прижизненной гробницей.

Ибо что такое книга, как не застывшие в камне мгновения и замершее время, способное, однако, снова начать свой ход под внимательным взглядом читателя, живущего в обычном человеческом темпе? Таким же образом пейзаж в воспоминаниях путешественника превращается в ряд разрозненных картин: дикий кабан, исчезающий в поросшем кустарником высохшем русле реки; забор, через который легко перепрыгнуть и оказаться дома. Сравнение возникло у меня не просто так: голос автора в книге становится *местом*.

Место это – страна мертвых.

Я говорю отнюдь не метафорически. Я считаю писателей своими коллегами-некронавтами, а Измаилов и Квикегов – их инструментами и проводниками, если хотите, снегоступами, в которых они покоряют ледяную тундру чистых страниц.

К слову, увидев меня сейчас, вы бы очень удивились, ибо на мне хитроумный прибор, не дающий закрыться рту и вытягивающий язык, длина которого, по моему мнению, не может быть чрезмерной. На языке при этом бумажный чехол. Один из самых частых моих собеседников из потустороннего мира, Корнелиус Хэкетт, охарактеризовал его сегодня (моими устами, разумеется) словами, которые я не расслышала четко, но, кажется, это было «маленькое платьице». Впрочем, один ученик предположил, что это была «малость» (скромность?) или даже «малодушие». Хотя можно ли упрекнуть в малодушии меня, всю жизнь преданно служившую смерти?

Вскоре я узнаю, по вкусу ли мертвым мое «маленькое платьице». Для меня самой нет зрелища приятнее, чем видеть свой почти выдернутый из глотки язык скачущим во рту, как мои подопечные на утренней зарядке. А вот тень на стене в пляшущем пламени свечи меня пугает. Она похожа на тень человека, с которого содрали скальп тупым инструментом, возможно, даже ложкой...

Я чуть не подпалила себе волосы свечой! А пока отряхивалась, опалила бумагу на языке. Пусть это послужит мне напоминанием: всегда быть сосредоточенной на своем занятии, и не позволять воображению рисовать пугающие картины.

Позвольте объяснить, почему чехол для языка сделан из бумаги, а не из более прочного материала. Едва ли можно было предположить, что он сгорит в огне, однако опасность, что он размокнет, существовала всегда: во рту, как известно, очень влажно. Но я всегда выбираю бумагу, когда есть такая возможность: бумага – идеальный проводник для призраков. Я почувствовала это еще в детстве, разжевывая в бумажную кашку уголки книжных страниц.

К слову, вчера, в один из моих редких визитов в Чизхилл, местная библиотекарша обрызгала меня грязью из-под колес своего нового автомобиля: она теперь стала очень важной дамой, так как вышла замуж за очень обеспеченного человека.

Вообще-то, я даже рада, что вас нет в живых: писателю лучше быть мертвым, чем живым. Когда я впервые поняла, что большинство авторов книг, которые я прочла, давно отошли в мир иной, я даже немного обрадовалась, ибо мысль, что где-то там они чистят кукурузу или грызут орешки, пока их призраки преждевременно нашептывают мне в ухо, не только сбивала с толку, но и казалась какой-то неприличной. Сложно отнестись со всей серьезностью к словам человека, который, возможно, в эту самую минуту распевает, изрядно приняв на грудь:

Скрипач в парике играл в кабаке
Тирьям тидли-видли тирьям!
Он денег скопил и во вторник купил
Толстую свинку на рынке!

По благопристойному виду вашей бороды, сэр (книга сейчас лежит передо мной и открыта на странице с вашим портретом), я вижу, что вы не позволили бы себе распевать таких песен даже при жизни, то есть в состоянии, которое само по себе толкает нас на всякие неблагопристойности; но мало ли что взбредет в голову человеку в расцвете сил и под влиянием веществ – под «веществами» я имею в виду алкоголь. Поэтому я даже рада, что вы не подвержены подобным искушениям; мне нечасто приходилось слышать пение мертвых. (Что наводит меня на мысль – надо бы поговорить об этом с нашим мистером Ленором.)

Однако «маленькое платьице» уже промокло, а ни один призрак так и не появился. Не сердитесь, мистер Мелвилл, но мне любопытно, отчего вы не появляетесь? Я слыхала, что одна

дама из «Сестринства гармонии душ» регулярно беседует с Чингисханом и изумляется, что он так хорошо говорит по-английски, но я бы с большим удовольствием поговорила с вами.

Соболезную вашей кончине,

Мисс Сибилла Джойнс

30

ЗАИКАНИЕ И ШЕПЕЛЯВОСТЬ

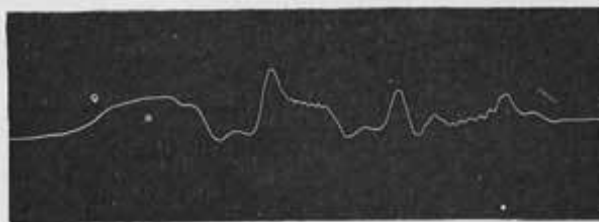


Рис. 13 — Диаграмма нормального произношения слова «заканание».

За вдохом следует «з», затем на выдохе произносится сочетание гласных — «аи». Резкое поднятие линии соответствует взрывному «к». Небольшие вибрации — ударному «а». Заключительная часть диаграммы соответствует окончанию слова.

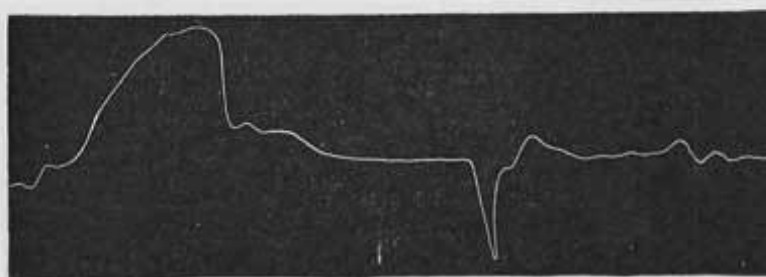


Рис. 14 — Диаграмма произношения слова «заканание» заикающимся.

За вдохом следует сильное «з», затем — чрезвычайно продолжительное «а», после чего заикающийся делает еще один вдох. Остаток слова произносится как обычно.

На рис. 13 представлена нормальная диаграмма произношения слова «заканание». Вдох, предшествующий первому звуку — «з» — обозначен плавной восходящей линией. Далее линия резко уходит вниз, что соответствует произнесенным на выдохе гласным, но так же резко взмывает вверх, что соответствует резкому выдоху при произнесении взрывного «к» и следующего за ним ударного «а». Ему же соответствуют вибрации

3. Последнее донесение (продолжение)

[Длительные помехи, несколько слов, произнесенных неразборчиво]

...Кто-то пропал, ребенок, катастрофа, хаос, крах! Нужно все исправить, починить, удерживать, избежать...

Нет, нет, нет, нельзя позволять себе волноваться. Теперь, чтобы поймать ее, придется начинать с начала, создавать мир заново. Казалось, всего минуту назад я бежала по знакомой тропе. Не считая диковинных псов и кроликов, то была дорога к дому, такая же, как там, в реальном мире, и девочка оставалась в поле моего зрения. Но потом мое сердце полыхнуло ослепительно-белым, дорога и ров в окружении холмов растворились и распались на волокна, подобные тончайшим волокнам грибочки, а девочка исчезла. Я осталась одна на чистой странице.

И это не метафора. Здешний белый – не песок, обжигающий подошвы одинокого путника, бредущего слева направо по девственной пустыне. Не снег, пушистыми сугробами укутавший поле брани так, что лишь изредка из-под него виднеется оброненный штык, торчащий над поверхностью подобно надстрочному элементу «б» или строчной «к». Не пепел *[помехи; несколько неразборчивых слов]*. Речь о той самой странице, на которой сейчас печатают эти строки; она белая, потому что целлюлозные волокна, из которых она сделана (а сделана она, насколько мне известно, на бумажной фабрике в Фитчбурге, штат Массачусетс), отбеливаются в процессе производства, и этот процесс называется «облагораживанием». В нем нет ничего сверхъестественного, и все же белизна бумаги и белизна, окружающая меня со всех сторон, – одного порядка.

Что? Да, я существую, в настоящем времени и только на этой странице, поскольку в настоящем я существую лишь в виде этих самых слов. Что? Да, средний палец твоей правой руки нажимает на клавишу с присоединенным к ней молоточком, и тот отпечатывается на ленте, пропитанной чернилами; тем самым в бездне возникает буква, а с буквой – *о чудо* – возникаю я. *[Долгая пауза, сильные помехи, далекий вой.]*

[Слово или слова, неразборчиво; возможно: «Но возникаю ли?»]

Ты слышишь?

«Ты слышишь?» – печатаешь ты, потому что слышишь меня. Еще бы не слышала! При каждом движении рук, стучащих по клавишам, жесткий накрахмаленный воротник царапает твой покрасневший подбородок. Волосы едва касаются раструба медного аппарата, к которому ты прислонила ухо, старательно прислушиваясь к глухому трескучему голосу, то приближающемуся, то отдаляющемуся, как волна. К моему голосу, доносящемуся из страны мертвых, хотя сама я жива, как мне кажется. У меня нет причин в этом сомневаться. Или есть? В данный момент рабочая теория такова: я все еще жива.

– Вы живы, – подтверждаешь ты, и я вспоминаю, что должна делать.

Я произношу слова: «проселочная дорога», «ров», «маленький деревянный мост». Ты записываешь их. Мир на странице оживает. В этом мире я нахожусь сейчас. Он настолько реален, насколько мне того захочется. Достаточно реален, чтобы выдержать мой вес – иначе как мне перейти по мосту бурный ручей, как перебраться на ту сторону и догнать девочку? Я смотрю на доски, на трещины между ними и пенящийся белый поток. Тут мне на помощь приходит опыт. Начну описывать воду – и упаду. Начну описывать доски – и на перечисление всех гвоздей уйдет вечность. Нет нужды заострять внимание на каждой торчащей щепке. Достаточно сказать «мост», чтобы перейти на ту сторону. Достаточно сказать «извилистая тропа, ведущая в гору», чтобы продолжить путь.

[Шорох.]

Порой я сомневаюсь, что не выдумала и тебя, моя дорогая слушательница, и все приметы твоего облика: к примеру, чулки, черные, собирающиеся складками на коленках и щиколотках и сползающие на задники туфель, которые тебе всегда то малы, то велики, и никогда не бывают впору. Или уши, от которых зависит все наше мероприятие – слегка, но не сильно оттопыренные, хре хрящи, обтянутые шелковистой кожей, две раковины, одна чуть краснее другой от того, что прислонена к медному раструбу аппарата. Твои волосы, очень тонкие, черные, вьющиеся, заплетенные в косы; прическа подчеркивает изящную форму головы и тонкую шею, пробор белым шрамом рассекает голову, словно кто-то однажды попытался рассесть тебя надвое. Твой нос слегка сморщился от сосредоточенности, а, может, от досады на меня, ведь я говорю о тебе вместо того, чтобы описывать край мертвых и искать Еву Финстер, а ты этого не одобряешь. Тебе бы все только заниматься делом. Это мне в тебе и нравится. По обе стороны от носа – небольшие впадинки. Нос у тебя тонкий и небольшой. Маленькие ноздри сосредоточенно раздулись.

Ты слышишь?

За гребнем холма сквозь кроны деревьев виднеется чистая страница. Дорога круто идет в гору, но она совсем не скользкая, и мне остается лишь помнить о том, чтобы подобрать юбки, когда я перешагиваю через белые ручейки, тут и там сбегаящие с холма, словно напоминая мне о том, что нельзя отвлекаться от...

Мисс Раздутые Ноздри, ты записываешь? Я буду продолжать говорить о тебе, пока ты не вспомнишь о своих обязанностях, а это, во-первых, записывать все, что я говорю, и, во-вторых – существовать. Потому что если ты не существуешь на самом деле... Что у тебя на шее? Шарф? Нет. Распятие? Нет, пусть лучше будет медальон, медальон на тонкой золотой цепочке – не из настоящего золота, с позолотой, которая частично стерлась и обнажила скрывающийся под ней серый металл. А что в медальоне? Пусть будет локон тонких каштановых волос, не таких курчавых, как у тебя, прямее; и, возможно, даже не человеческих. Пусть это будет клочок собачьей шерсти, или ослиной, или козьей, или *[неразборчиво]*...

Ребенок пропал. Ребенок пропал...

Паниковать ни к чему. Мы и так делаем все возможное. Ров уже позади. Впереди – тропа и болотистая пустошь, поросшая чертополохом. Чертополох колышется и шепчет на ветру. Тем временем мой ум успокаивается мыслями о тебе, флегматично печатающей «флегматично». Тебе даже сверять написание слова нет нужды. На большом пальце твоей маленькой, но широкой, довольной грубой и сухой руки – кольцо; иногда оно позвякивает о раму пишущей машинки, как колокольчик, вот как сейчас – динь! Кольцо, в отличие от медальона, из чистого золота, хотя в некоторых местах протерлось и больше не блестит. Возможно, оно принадлежало твоей покойной матери, хотя есть вероятность, что та еще жива – пусть живет, почему бы и нет, хотя еще неизвестно, что лучше – смерть или жизнь больной сифилисом, до неузнаваемости изувеченной недугом.

Ты приподнимаешься со стула. Затем, обуздав свои чувства, снова садишься. Ты, верно, считаешь, что я попусту трачу время, подначивая тебя, когда могла бы описывать неведомые науке чудеса. Скажем, сейчас над моей головой кружат силуэты крупнейших из существующих здесь птиц, которые и не птицы вовсе, а вместе с тем ничем другим быть не могут. Они кружат вокруг одной точки – меня, само собой, а точнее, точки прямо надо мной. В полете они почти неподвижны, несмотря на то, что тела их огромны и неуклюжи, и кажется, будто такие крупные птицы не смогут удержаться в воздухе, если не будут лихорадочно размахивать своими розовыми мясистыми крыльями, но это впечатление ошибочно – они загребают крыльями в воздухе, как веслами, но с нерегулярными интервалами, а в промежутках их точно поддерживает на плаву восходящий воздушный поток. Лишь изредка они почти незаметно меняют угол наклона крыльев и тогда ныряют вниз и скользят по нисходящей кривой.

Одна из них летит прямо на меня – глаза как бусины на концах шляпных булавок, круглые, прикрытые полумесяцами век. Я могу рассмотреть эту птицу во всех деталях, но не стану вводить тебя в заблуждение – в ней нет ничего более диковинного, чем в тебе, в том, как ты поеживаешься на стуле и поводишь плечами, ощутив неприятную шероховатость грубой шерсти школьного платья, царапающего тебе спину; в том, как ты сидишь, скрестив лодыжки под стулом, и ритмично постукиваешь подошвами по деревянным половицам. В ней нет даже ничего более диковинного, чем в твоих панталонах – они тебе не по размеру, слишком велики в талии, сшиты из неприятной шершавой ткани и слегка намокли в промежности. Или в кармане твоего платья, где лежит выпачканный чернилами платок и есть дыра, сквозь которую когда-то провалилась монетка и затерялась в подкладке.

Однако вернемся к птице. Та устремляется вниз, рассекая воздух со звуком рвущейся бумаги. Я бросаюсь в укрытие. [*Шорох.*] Птица вцепляется в мою шаль, а колючки чертополоха – в платье. Шипы рвут нижние юбки. Когти выдергивают клочок волос.

Потом птица вдруг улетает, захлопав крыльями. Возможно, приметив добычу помельче – возможно, *девочку*, – но нет, если я все понимаю правильно, Ева Финстер здесь не добыча, а сокольников; ее неуправляемая воля – воля ребенка, еще не способного владеть собой – материализовала этих птиц и натравила их на меня. Ай да девчонка!

Если только это не я. Не я сокольников: тогда я и добыча, и сокол, и сама себя запускаю в полет с перчатки, сама себя вспугиваю, сама пикирую с высоты и вцепляюсь в себя же когтями.

– Кукла водит за нос кукольника! – насмехаются надо мной чертополохи. – Сплошное надувательство! – Белые бумажные полосы пронизывают болотистый пейзаж; он снова распадается на части. А я так старалась!

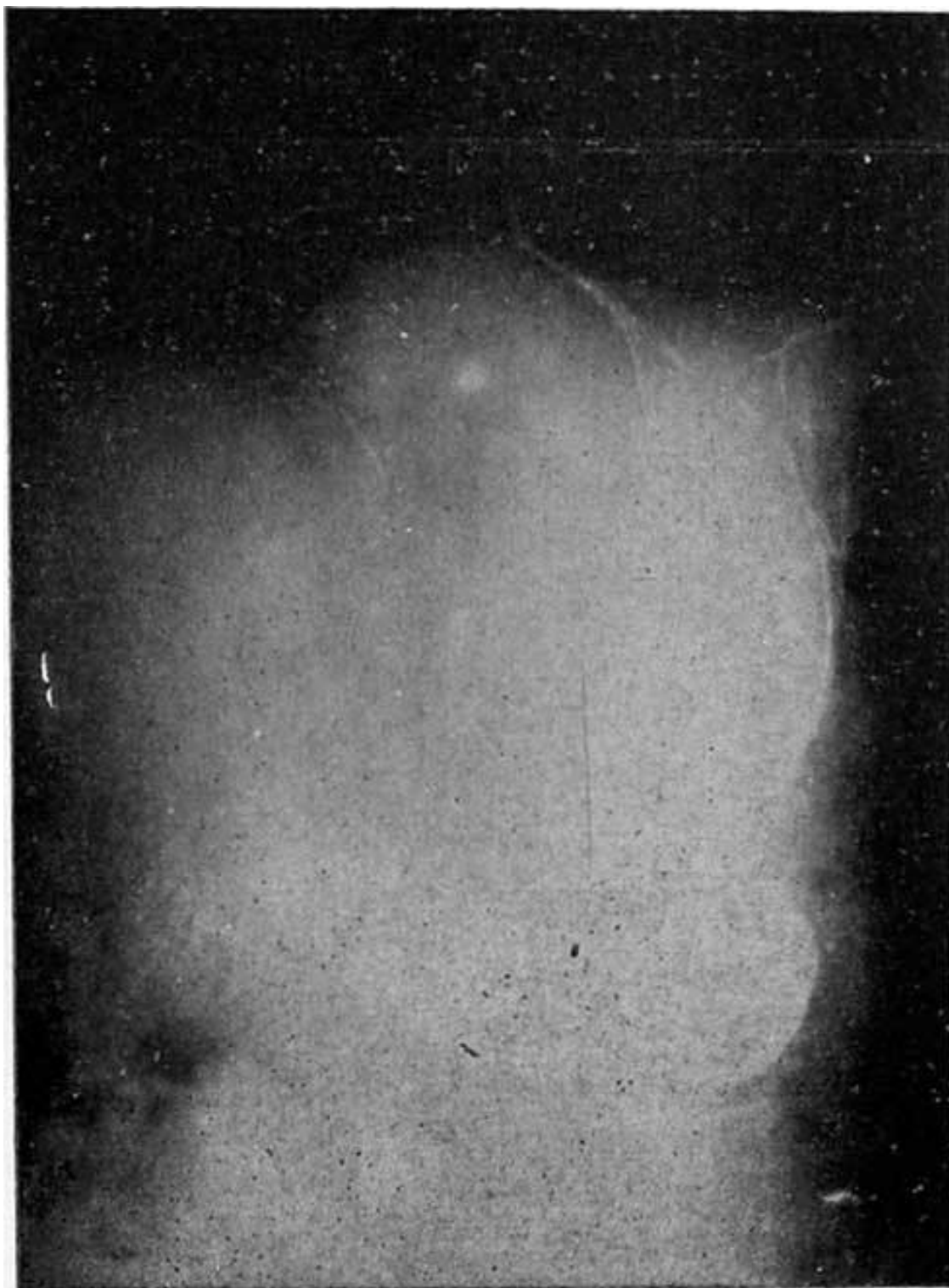
[*Помехи; шипение; две или три неразборчивых фразы.*]

...по крайней мере, можно положиться. И это меня несказанно радует, ведь я всецело полагаюсь на тебя. Но почти уверена, что сама тебя выдумала. Почему? Ты слишком реальна. Слишком точно прописаны все детали. Например, складка на запястье, обычно возникающая у молодых людей твоего возраста – полагаю, тебе около шестнадцати – следствие так называемого «детского жирка», в твоём случае вызвана чрезвычайной сухостью кожи; такие же складки у тебя на щиколотках; костяшки пальцев сухие и покрыты коркой, а в уголках губ уже намечается сетка мелких морщин. Белые точки на левой миндалине свидетельствуют о заражении стрептококком, а сама железа слегка распухла и напоминает по форме перезрелый инжир. Ты проводишь кончиком языка по нижней губе, где открылась и закровоточила лосо-сево-красная трещина.

Пожалуй, я немного люблю тебя. Легко полюбить творение своего ума.

Еву Финстер, напротив, полюбить непросто.

Спаси ее!



Рассказ стенографистки (продолжение)

– Проснись! – координатор (если это она) трясла меня за плечо. – Просыпайся немедленно! Некогда прохлаждаться; не думаешь же ты, что приехала сюда смотреть сны за школьный счет? – Я села и поспешно сунула ноги в туфли. – Нужно внести сведения о тебе в реестр, проэкзаменовать, выделить тебе кровать, гигиенический набор, ротовую палочку и уздечку, и все это – до вечерней зарядки. Как бы некоторым ни хотелось побездельничать, у нас на это нет времени!

Несправедливость ее последнего замечания обидела меня – кому понравится, когда тебя называют лентяйкой? – но я все равно кивнула и встала. В ту же минуту из-под кушетки донеслось царапанье, и оттуда выскочил тощий белый кот. Он бросился через комнату, поднял облезлый хвост и пометил стену.

– Зови меня Другая Мать, – произнесла дама, казалось, не замечая проделок кота, который завершил свое грязное дело и принялся старательно чистить усы. Она выдвинула ящик стола и с треском задвинула его; пошарила линейкой в другом ящике и концом ее задвинула его обратно. Один за другим она открывала ящики и шарил в них, бормоча что-то себе под нос. Из ящиков вылетали бумаги и рассыпались по полу.

Другая Мать? Что за имя такое? (С другой стороны, что это за имя – мисс Тень?) Может, это не имя вовсе, а почетный титул, и по прошествии времени Другая Мать уйдет на покой, а ее место займет другая Другая Мать, менее краснолицая и сердитая, но не менее достойная занимать этот пост. Возможно, у здешних обитателей нет имен, а есть лишь титулы, и кто скорее подоспеет, того и место. И не кажется ли мне, что с момента моего приезда сюда все разговоры, в которые я вступала, были несколько странными? Похожими на разговоры людей, вдруг вспомнивших о том, *как* говорить, но забывших о том, *зачем*?

Дама подняла листок, нахмурившись, взглянула на него и снова выронила.

– Где твои документы? – спросила она.

– Н-не знаю, е-есть ли он-н-ни у м-меня, – в смятении отвечала я. – Я н-н-не...

– Цыц! – рявкнула она. – Я что, задала тебе вопрос? – Я открыла рот. – Цыц, я сказала! Неужели не видишь, хлопот у меня и без твоей болтовни хватает. Я мыслей своих из-за твоего лепета не слышу! Нет уж, знаете ли, это слишком. Мне всегда поручают самые сложные случаи, детей совершенно невоспитанных бог весть откуда, которые не стараются даже привести себя в приличный вид! Где твоя форма?

– У меня ее нет.

– Какой абсурд! У всех учеников есть форма! А если у тебя нет формы, значит, ты не ученица, и тебе здесь не место! Сейчас же отправляйся в кладовую, и пусть тебе выдадут платье. Я не намерена разговаривать с той, кто не считает нужным соблюдать основы приличий и позволяет себе расхаживать без формы! Достаточно уже того... Мне хватит уже того... Нет, я просто в толк не возьму... – Ее подбородок дрожал.

– Прошу, не надо так расстраиваться, – поспешила успокоить ее я. – Я понимаю, что это не оправдание, но я только что приехала, и никто не сказал мне, что нужно зайти в кладовую за формой! Видимо, кто-то другой не сделал свою работу, и теперь вам приходится все взваливать на свои плечи. Я вижу, что забот у вас невпроворот, и это так несправедливо! – И снова я говорила с несвойственной мне уверенностью и легкостью. Как будто эти стены помогали мне изъясняться без труда. Похоже, мне здесь рады, довольно подумала я.

Другая Мать кивнула и уронила голову на руки. Плечи ее сотрясали рыдания.

– Сейчас же пойду за формой, – поспешила сказать я и у самой двери обернулась: – Я ухожу.

Другая Мать даже не взглянула на меня и не подумала сообщить, как найти кладовую. Я на цыпочках вышла в коридор. Кот выскользнул за мной следом.

Коридор опустел, не считая воробья, по-прежнему летавшего к окну и от окна. Кот замер с поднятой лапой; его глаза следили за полетом птицы. Затем он сел, трижды быстро облизал лапу, снова встал и целенаправленно зашагал к лестнице, ступая абсолютно бесшумно. Чувствуя, что лучше держаться рядом с тем, кто знает, куда идет, пусть даже это всего лишь кот, я последовала за ним. На лестничной площадке кот просочился между перилами и остановился на самом краю, равнодушно глядя в бездну.

– Туда? Хорошо, – ответила я.

Свет в холле переменялся; очевидно, гроза подошла близко к дому, и коридор первого этажа, куда я спустилась, потускнел и помрачнел. По обе стороны от лестницы находились закрытые двери; я выбрала ту, что слева, но не успела повернуть дверную ручку, как услышала движение внутри.

Дверь напротив приоткрылась, и в проеме показалась голова рыжеволосого мальчика, с которым мы уже встречались раньше. Я почему-то обрадовалась ему.

– Ха-ха-ха! Ты еще здесь? – спросил он. На нем был странный наряд: что-то вроде марлевого мешка, натянутого на проволочный каркас, закрепленный под подбородком, чтобы мешок всегда оставался открытым.

– Я ищу кладовую, – ответила я и поспешно добавила: – Меня отправили за формой, и не кто иной, как Другая Мать, так что будь добр, помоги мне, и скорей!

Он вышел в коридор и закрыл за собой дверь, но я успела увидеть ряды застекленных шкафчиков, а над ними подвешенные к потолку конструкции из пробкового дерева и бумаги, напоминающие воздушных змеев или модели, но какие именно – геометрические, анатомические, космологические – определить было сложно.

– Другая Мать? Что ж, тогда д-действительно лучше п-помочь, – вымолвил он, но в его тоне чувствовался сарказм.

Быть может, Другая Мать не настолько влиятельна, как мне кажется? Пренебрежение формальностями, о чем свидетельствовал бумажный беспорядок на столе, ее слезы, сон среди рабочего дня – все это могло означать, что она принадлежала к низшей ступени школьной иерархии и была, скажем, завхозом или простой служанкой. С другой стороны, все то же самое могло означать ее чрезвычайно высокое положение.

Мальчик провел меня по коридору сбоку от лестницы. Неприметная узкая дверь вела в другой коридор, пошире, напоминавший школьный коридор второго этажа, но более темный и грязный.

– Когда мне выдадут форму, проводят ли меня в мою комнату? – Я вдруг вспомнила, что оставила свой чемодан наверху, в комнате Другой Матери.

– Комнату? Ты будешь спать в общей спальне, как все. – Он задумался. – Если, конечно, директриса не решит, что тебе нужна отдельная комната. Впрочем, еще никому такая честь не выпадала. Но это, несомненно, в ее власти, тем более что чего-чего, а комнат здесь хватает. Да может, и к лучшему, если ты никому не будешь мозолить глаза, если тебя поселят где-нибудь на чердаке или в одной из пустых комнат, вполне пригодных для жилья. Впрочем, я бы на твоём месте не надеялся, что тебе выделят отдельную комнату. Чем ты лучше остальных? Если, конечно, директриса решит иначе, но представляю, как все тогда удивятся. Не то чтобы мы не привыкли к ее внезапным сменам настроения по причинам, редко представляющимся нам ясными, но...

Вдруг он замер, и на лице его возникло странное выражение; он поспешно ослабил завязки мешка на шее. Лицо его пожелтело, и я заметила, что над верхней губой у него тонкие темные волоски. Голова его задергалась, как у кота, намеревающегося изрыгнуть комок шер-

сти; он поморщился и действительно выплюнул некий предмет, упавший в марлевый мешок и принявшийся бултыхаться на дне.

Он быстро прошел через коридор и потянул за шнурок. Где-то в глубине дома зазвонил колокольчик; послышались приближающиеся шаги.

– Уит и Макдугал, – прокомментировал он. – Спешу, еще не хватало, чтобы они застали тебя без формы! Беги же, я больше ничем тебе помочь не смогу! – И он бросился дальше по коридору, где уже возникли две темные фигуры в длинных одеяниях, бежавшие нам наперехват.

– Но куда? Куда мне бежать? – взмолилась я.

– В кладовую!

– Но я не знаю, где она! – воскликнула я, а потом с раздосадованным «Ой!» бросилась к началу коридора, туда, откуда мы пришли. Лишь тогда я заметила, что от большой главной лестницы ответвляется еще один узкий пролет. Я предположила, что он мог вести на кухню, в подсобку или прачечную, а если в школе и есть кладовая, она тоже должна быть там, внизу. Мои предположения подтвердились.

– Явилась-таки! – воскликнула заведующая кладовой. Первое, что бросилось мне в глаза: ее рот был занавешен маленькой серой шторкой, натянутой на проволочный каркас; с каждым выдохом шторка раздувалась, как на ветру. Узкокостная, с кожей цвета кофе с молоком (светлокожая мулатка, не иначе) и пытливым взглядом больших распахнутых глаз, она выронила стопку одеял, за апатичным складыванием которых я ее застала, уперлась ладонями в откидной стол, служивший перегородкой, и лихо перескочила через него (на ней были широкие панталоны), так не терпелось ей пожать мне руку. Я настороженно попятилась, не ожидая такого приема – нечасто моя персона вызывала у окружающих подобные восторги, – но потом все же шагнула ей навстречу и пожала протянутую руку.

– Маргарет Морок! – представилась она и следом медленно, точно припоминая что-то, добавила: – А ты, значит, Джейн. – Мое обычное имя она произнесла таким тоном, будто речь шла о благоуханном цветке.

– Да, я Джейн, – кивнула я и показалась вдруг себе недостойной своего имени. Но потом решила: а что, собственно, удивительного в том, что мне оказали радушный прием? Я же получила письмо с приглашением приехать в школу, и наверняка все должны об этом знать; только Другую Мать почему-то не ввели в курс дела, и как же она удивится и как глупо себя почувствует, узнав, кто я такая на самом деле! – Вы з-з-з... – Я сделала глубокий вдох, повелевая Голосу замолкнуть, и попробовала еще раз: – Вы знали, что я приеду?

– Ну, разумеется! – Насколько я могла судить по ее подмигиваниям и кивкам, за серой шторкой она улыбалась. – А откуда бы тогда у нас взялась для тебя форма? Без всякого преувеличения могу сказать, что сам факт существования твоей школьной формы сделал неизбежным твой приезд сюда – рано или поздно это должно было случиться, не лежать же платью без дела! Пойдем, покажу тебе, что я приготовила для тебя, пока ждала.

По-прежнему держа меня за руку – она так и не выпустила ее после рукопожатия, – мисс Морок провела меня за перегородку в глубь кладовой, где высились полки с аккуратно сложенным бельем, полотенцами, капорами, носовыми платками и прочими предметами, назначение которых было мне неизвестно. Мы очутились в темном и тесном углу в самой глубине кладовки. Мисс Морок небрежно смахнула с одной из полок стоявшие на ней предметы – наперстки, мотки проволоки и другие мелкие вещи, в темноте было не разобрать, какие именно. Они со стуком падали на пол и откатывались в темный угол.

– Вот, – наконец прошептала она, – подойди ближе. – Я подошла. – Дунь.

– Дунуть?

– Вот так. – Она подула, и где-то в глубине полки прозвучал тихий сладкозвучный аккорд, словно несколько флейт запели одновременно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.